БЕЗ СОХРАНЕНИЙ

КОНЕЦ ПАРТИИ



АЛЕКСАНДР ФРОСТ

Александр Фрост

Без сохранений. Конец партии

«Автор»
2026

Фрост А.

Без сохранений. Конец партии / А. Фрост — «Автор», 2026

Место встречи Гальцев выбрал сам: ночная сторона Тиля, средние орбиты, начало выдоха. Там, где два года назад он похоронил двести четырнадцать тысяч человек.На ту сторону придёт один человек — тот, кому за эту встречу уже заплатили задаток. Гальцев летит за именем нанимателя. Он привезёт обратно не имя, а единственного в двух мирах собеседника, который понимает, о чём идёт речь, когда говоришь, что у мира есть версия.Потому что редакция Устава-ядра, по которой воюют все флоты Империи, — это одна строка в одной книге. Книгу ведут четыре человека в холодном зале под Дворцом Совета. Чтобы строку поменять, нужны двое и восемь минут, и отдельного акта при этом не составляется.Гальцев будет доказывать это двенадцати великим родам — и каждый раз обнаруживать, что всё им опубликованное уже учтено против него. За это он потеряет звание, награды, службу, права на пятнадцать лет и искина, который за одиннадцать лет не солгал ему ни разу.

© Фрост А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Двадцать два дня 5
Глава 2. Ночная сторона 13
Глава 3. Патчноут 21
Глава 4. Форма ноль-один 29
Глава 5. Условия 37
Конец ознакомительного фрагмента. 43

Александр Фрост
Без сохранений. Конец партии

Глава 1. Двадцать два дня

Отпуск оформляется по форме двадцать два.

Я узнал об этом от Ульмана, который принёс мне бланк на следующее утро после того, как я назвал Полуночнику место и время. Бланк был на одном листе, с четырьмя графами, и в третьей графе требовалось указать адрес, по которому офицер будет находиться в период отпуска.

— Я не буду указывать адрес, — сказал я.

— Тогда вам его не согласуют, — сказал Ульман.

— Почему?

— Потому что в графе написано «обязательно к заполнению». — Он положил рядом с бланком вторую бумагу. — Поэтому я принёс вам приложение. В приложении указывается причина, по которой адрес не может быть указан. Причин в перечне девять. Вам подходит седьмая.

Я прочитал седьмую. Там было написано: «частные обстоятельства личного характера, разглашение которых не предусмотрено».

— Это правда? — спросил я.

— Это формулировка, — сказал Ульман. — Правда там, где вы напишете, куда едете. Вы ведь мне не скажете.

— Не скажу.

— Значит, седьмая.

Он стоял у стола и ждал, пока я подпишу. За четыре месяца, что он сидел в соседнем кабинете и писал мне бумаги, я так и не научился смотреть на него спокойно. Он был вежлив, точен и ни разу не солгал. Он сидел в одном отделе с Ивеном Лорном. Эти два факта не складывались в одного человека, и я перестал их складывать: просто держал оба в голове и работал с тем, который был передо мной.

— Коммандер, — сказал я. — Вы понимаете, что я еду не отдыхать.

— Я понимаю, что вы оформляете отпуск, — сказал Ульман. — Про остальное я ничего не знаю и знать не хочу, и если меня спросят, я так и скажу, и это будет правдой. — Он забрал подписанный бланк и ровно сложил его пополам. — Генерал, я вам один раз скажу и больше не буду. Вы уезжаете без охраны, без корабля и без доклада. Если с вами что-нибудь случится, искать вас будут по третьей графе, в которой написано «седьмая причина».

— Я знаю.

— Я тоже знаю, что вы знаете, — сказал он. — Я сказал это, чтобы оно было сказано.

Он ушёл. Я посмотрел ему вслед и подумал, что за полтора года в этом мире я научился разбирать людей по бумагам и так и не научился разбирать их по лицам.

Кастен пришла вечером с папкой.

В папке было одиннадцать листов, и она положила их передо мной по одному, как раскладывают карты.

— Это что?

— Это то, что я буду делать, если вы не вернётесь, — сказала она. — Я хочу, чтобы вы прочитали и сказали, где я ошиблась.

Я прочитал.

Первый лист — кому и в каком порядке уходят копии материалов. Арден, Белаш, следственная служба Совета, Ойст. Четыре адреса, четыре срока, четыре отметки о вручении.

Второй — что говорить в канцелярии и чего не говорить. Третий — показания Вейлиса, которые надо успеть оформить письменно до того, как его поручительство потеряет силу, потому что поручался за него я лично, имуществом и должностью, и после моей смерти оно превращается в ничто. Четвёртый — Лейна Орс, перевод, ходатайство, кто подпишет. Пятый — Делия Теон.

На шестом было написано моим почерком «Наблюдения, из которых ничего не следует», и ниже её почерком: «одиннадцать записей, из них шесть о главе рода Корсен; передать Ардену лично, не по сети, объяснить, что это не улики».

Я дошёл до одиннадцатого и положил папку.

— Вы ничего не забыли, — сказал я.

— Я забыла одно, — сказала Кастен. — Я не написала, что я буду делать с собой.

— А что вы будете делать с собой?

— Ничего. — Она села напротив. — В этом и дело. Генерал, я за девять лет похоронила одного командующего, и он умер у меня на глазах, и я две недели потом объясняла людям, что он всё равно был хороший офицер. Я не хочу делать это второй раз.

Я молчал.

— Я не прошу вас не ехать, — сказала она. — Я видела, как вы считали. Вы всё посчитали правильно, и я бы поехала. Я прошу другого. — Она положила ладонь на папку. — Когда вы его увидите, не решайте ничего там. Что бы он вам ни сказал. Вы слишком быстро думаете, и это на вас всегда работало, а он полтора года читал вашу ведомость и знает, с какой скоростью вы думаете.

— Хорошо.

— Это не «хорошо», — сказала Кастен. — Это «я вас услышал и сделаю по-своему». Я знаю эту интонацию. Я её девять лет слышу.

— Полтора, — сказал я.

Она посмотрела на меня.

— Девять, — сказала она. — Я считаю по телу.

Грузовик назывался «Долгая вода».

Он брал четыре тысячи тонн мелкой номенклатуры и ходил по внутренним маршрутам между четырьмя секторами, заходя в двадцать один порт за рейс. На борту было девять человек, включая капитана, и одна пассажирская каюта, которую держали на случай, если кому-то из грузоотправителей понадобится сопровождать товар лично.

Я купил эту каюту на семнадцать суток за свои деньги, по расписанию, которое никто не утверждает.

Капитан Тея Рейв приняла меня в рубке, не вставая. Ей было лет сорок пять, она была невысокая, широкая в плечах, с короткими светлыми волосами и с тем выражением лица, какое бывает у людей, которые уже всё про тебя решили и ждут, когда ты это заметишь.

— Генерал Галактионов, — сказала она.

— Я в отпуске.

— Я прочитала, — сказала она. — У меня в судовой роли написано «пассажир, Галактионов А., частное лицо». Я такого никогда не писала и больше не напишу. — Она развернулась в кресле. — Садитесь. Нет, не сюда. Там штурманское, туда нельзя.

Я сел куда велели.

— Вы знаете, кто я, — сказал я.

— Все знают, кто вы, — сказала Рейв. — Я вам больше скажу: у меня из девяти человек экипажа шестеро читали вашу ведомость. Не потому, что интересно. Потому что в ней был график прохода узлов, а другого графика не было нигде.

Она помолчала.

— Я вас взяла не поэтому.

— А почему?

— Потому что в прошлом году я стояла в очереди на узле Тавен двадцать два дня, — сказала Тея Рейв. — Двадцать два. Я считала. У меня было двести сорок тонн сухого молока на Эдду, по контракту, с неустойкой. Молоко я довезла на сорок первые сутки, неустойку заплатила, корпус заложила. Я его до сих пор выкупаю.

Я молчал.

— Вы знаете, чья это была очередь?

— Моя, — сказал я.

— Ваша, — согласилась она. — Вы написали в докладе, что ущерб от блокады в сорок раз больше, чем от всех набегов, и его никто не считает. Я эту строчку читала. Мне её показал мой второй механик, он грамотный. — Она пожала плечами. — Это первый раз, когда кто-то сверху посчитал меня. Не пожалел, не извинился, а посчитал. Поэтому у вас есть каюта.

Она отвернулась к пульту.

— И поэтому же, генерал, вы будете есть с экипажем, спать в каюте, в рубку заходить по приглашению и не трогать мои маршруты. У меня тут не флот.

— Я понял.

— Хорошо, — сказала Рейв. — Мы отходим через сорок минут.

Семнадцать суток — это долго, если нечего делать.

Я читал. Сейв выгружала мне всё, что проходило по открытым лентам, и я разбирал это, как раньше разбирал ведомости, потому что ничего другого не умел.

Империя за полтора года успела привыкнуть к нескольким вещам.

Она привыкла к тому, что в четырёх секторах есть силы обеспечения безопасности транспортных коммуникаций и что командует ими коммодор Ойст, человек рода Дамел, который выбил у собственного рода двести девяносто кораблей там, где мне полгода отвечали отказом. Он водил эти корабли аккуратно, писал доклады по моей форме и подшивал отказы. В последнем докладе он впервые написал слово «недостаточны» и подписался.

Она привыкла к тому, что у коммуникаций есть ежесуточная открытая ведомость. Её выпускали уже триста двенадцатый раз. Третий пункт — сколько нарушителей сожгли и сколько при этом погибло — остался на месте, хотя мне дважды предлагали его убрать, один раз вежливо и один раз письменно.

Она привыкла к тому, что узел Тавен работает. Очереди вернулись к шести часам. Тана Рейс сидела на своём месте, и двадцать восемь моих людей по-прежнему работали по её регламенту, и она по-прежнему обещала выгнать со станции первого, кто решит, что он военный.

И она совершенно не привыкла к тому, что во всех этих четырёх секторах полтора года назад сожгли флот, а до того ещё три, и что в комиссии по Уставу-ядру девять мест, из которых занято шесть.

Про это не писали нигде. Не потому, что запрещали. Просто это было не новостью, а устройством, а про устройство не пишут.

Ели на «Долгой воде» в одну смену, за одним столом, в помещении, которое у них называлось кают-компанией и было размером с медпункт. Садились девять человек и я десятый, и первые трое суток разговаривали так, будто я мог в любую минуту встать и кого-нибудь отстранить.

На четвёртые заговорил второй механик.

Его звали Рен Арс, ему было лет двадцать пять, и он действительно был грамотный: он держал на коленях лист и ел левой рукой, потому что правой подчёркивал.

— Генерал, — сказал он. — Можно вопрос по вашей ведомости?

— Можно.

— Третий пункт, — сказал Доул. — Вы там пишете, сколько человек погибло у тех, кого вы сожгли. Зачем?

За столом стало тихо. Капитан Рейв не подняла головы от тарелки.

— Чтобы остальные восемь пунктов читали, — сказал я.

— Это я понял, — сказал Доул. — Это вы объясняли. Я другое спрашиваю. Вам-то зачем?

Я подумал.

— Чтобы я их считал, — сказал я. — Если не писать, через полгода я бы перестал.

Арс кивнул и уткнулся в свой лист, и я решил, что разговор кончился.

— У меня отец был на «Ровном», — сказал он через минуту, не поднимая головы. — Батарея правого борта. Живой, без левой руки. Его везли в столицу на «Тихой», в одном конвое с вами, только вы были на лайнере, а он в трюме. Он в этой вашей ведомости не был никогда, он в других бумагах. Я просто хотел знать, вы правда считаете или это так написано.

— Правда считаю.

— Ну ладно, — сказал Рен Арс и передал мне хлеб.

Больше за семнадцать суток ко мне никто с вопросами не подходил, и ели мы после этого нормально.

«Командующий, — сказала Сейв на седьмые сутки. — Вы просили напоминать раз в сутки».

— Напоминай.

«За прошедшие сутки я проверила собственное молчание по восьми темам. По семи инициативные сообщения в норме. По восьмой, снабжение и учёт, по-прежнему ноль. Шестьсот одиннадцатые сутки подряд».

— Хорошо.

«И вторая часть, как вы просили после случая с отметкой на пакете обновления. Оценка значимости. За сутки я трижды сочла сведения не относящимися к делу и не доложила о них».

— Какие?

«Изменение расписания двух караванов в секторе Ирд. Назначение нового начальника медицинской службы флота сектора Хеллор. И согласование вашего отпуска».

Я отложил лист.

— А что с моим отпуском?

«Ничего, — сказала Сейв. — Он согласован. Я сочла это не относящимся к делу, поэтому и упомянула: вы велели называть всё, что я отбросила».

— Назови срок.

Пауза была короткой.

«Заявление подано четырнадцатого в девять сорок. Согласовано четырнадцатого в тринадцать двадцать. Три часа сорок минут».

Я сидел и смотрел в переборку каюты.

Три часа сорок минут.

В этой Империи сорок часов — это минимальный срок, за который четыре человека успевают прочитать бумагу и не ошибиться. Сорок часов на объявление опасного района. Сорок суток на заявку об отступлении от Устава. Сорок суток на ответ по запросу об источнике медицинских данных. Вся эта Империя построена из сорока чего-нибудь, и я полтора года бился в эти сорок лбом, и за полтора года мне ни разу ничего не согласовали быстрее срока.

Один раз согласовали. На станции «Перекрёсток», три часа сорок минут, разрешение на беседу с Марисом Теоном. Без единого изъятия. Я тогда записал это в файл.

— Сейв. Кто подписал согласование?

«Отдел обеспечения работы постоянных комиссий канцелярии Совета Двенадцати. Подпись органа, без фамилии. Как обычно».

— Кто у них ведёт отпуска старших офицеров, прикомандированных к силам обеспечения?

«Данных нет. Распределение обязанностей внутри отдела в справочнике не указано».

Разумеется, не указано. В этом отделе девятнадцать старших референтов, средний возраст шестьдесят два, семнадцать из девятнадцати без подчинённых, и фактические обязанности не указаны ни у кого. Одиннадцать из них девятнадцать лет писали документы по делам о хищениях в снабжении флота. В этом отделе сидит Ивен Лорн. В этом отделе числится Йорг Ульман, который принёс мне бланк и объяснил про седьмую причину.

Я встал и прошёл два шага до переборки, потому что в каюте больше некуда было пройти.

Я ехал тайно. Без корабля, без охраны, без доклада, на частные деньги, по расписанию, которое никто не утверждает. Я всё это придумал сам и был очень собой доволен.

И за четыре часа кто-то в канцелярии Совета поставил подпись под моим отъездом.

— Сейв. Запись в файл.

«Наблюдения, из которых ничего не следует»?

— Туда, — сказал я. — Двенадцатая. Отпуск согласован за три часа сорок минут при норме сорок часов. Второй раз за полтора года. Первый был Теон.

«Записано».

— И добавь от себя. Я хочу знать, что ты думаешь.

«Я думаю, что из этого ничего не следует, командующий. Быстрое согласование не является нарушением, и человек, который хочет вас остановить, не станет вас отпускать». Короткая пауза. «И я думаю, что вы сейчас решаете, не вернуться ли».

— Решаю.

«Вы не вернётесь».

— Не вернусь, — сказал я. — Но ты права, я решал.

Кальдера встретила меня очередью.

«Долгая вода» встала на внешний рейд Ириса девятым номером и простояла одиннадцать часов, потому что на двух из шести восстановленных причалов шли работы. Я смотрел в иллюминатор на планету, над которой полтора года назад похоронил двести четырнадцать тысяч человек, и ждал, пока освободится причал.

Ирис снизу выглядел обычно.

Нижний Порт отстроили не весь. Четыре квартала у старого купола стояли как были, с чёрными глазницами, потому что деньги на них должны были прийти из сектора, а в секторе были другие расходы. Зато починили воду и обе линии подземки, и по улице шли люди, и на углу женщина продавала горячие лепёшки из тележки с жестяной трубой.

Она посмотрела на меня дольше, чем нужно, когда я брал лепёшку.

— С вас полторы, — сказала она. И, когда я уже отходил: — Мой брат был на «Долгом дне».

Я остановился.

«Долгий день» был в группе «Рубеж». Из ста девяноста человек подняли сорок четыре.

— Он вернулся? — спросил я.

— Вернулся, — сказала она. — Два года в госпитале, потом домой. Он не разговаривает про это. — Она отвернулась к трубе. — Идите, генерал. Я просто сказала.

Госпиталь Нижнего Порта стоял на второй линии, серый, в четыре этажа, с новой пристройкой, которая была светлее остального здания и потому выглядела заплаткой.

Приёмный покой был слева от входа. Там пахло мокрым полом и спиртом, сидели человек двадцать, и за стойкой стоял тощий парень в халате не по размеру и заполнял бумагу.

Орену Ташу было двадцать девять лет. Он отсидел год из восьми, запрещённых ему во флотской медслужбе, и выглядел лучше, чем полтора года назад: он наконец спал.

Он поднял голову, увидел меня и не удивился.

— Садитесь вон там, — сказал он. — У меня ещё четверо. Потом полчаса.

Я сел и ждал сорок минут.

Он принял четверых: старика с рукой, женщину с ребёнком, двоих рабочих с ожогом. С каждым он говорил три минуты и каждому что-то писал. Потом снял халат, сказал кому-то за дверью «я на полчаса» и вышел ко мне.

Мы сели на лавке во дворе.

— Вы не спросили, зачем я приехал, — сказал я.

— Вы мне напишете, если захотите, — сказал Таш. — Вы всегда пишете. — Он потёр глаза. — Как Сольм?

— Пишет запросы. Уже не по вашему делу, по другим. У неё их теперь сорок один.

— Она ненормальная, — сказал Таш с удовольствием. — Передайте ей.

Мы помолчали.

— Как здесь? — спросил я.

— Нормально, — сказал он. — В приёмном покое хорошо. В приёмный покой приходят с тем, что есть, а не с тем, что написано в карте. — Он посмотрел на пристройку. — Медикаменты до сих пор те. С «Перекрёстка». Тысяча пятьсот тонн, которые нам отгрузила та женщина. Их хватило почти на год, представляете? Нам полгода из сектора ничего не возили, а мы работали, потому что у нас был чужой склад.

— Марн сняли, — сказал я.

— Я знаю, — сказал Таш. — Я ей написал. Она ответила. — Он пожал плечами. — Она работает на складе. На другом.

За забором проехала машина.

— Вы приехали прощаться, — сказал Таш.

Я повернулся к нему.

— С чего вы взяли?

— С того, что вы приехали, — сказал он. — Генерал, я год назад подписал себе восемь лет, потому что вы меня попросили не подписывать и я подписал. Я знаю, как выглядит человек, который всё решил и приехал посмотреть на людей последний раз. Я этого человека каждый день вижу в зеркале — ну, видел, первые месяцы.

Я не ответил.

— Не говорите, — сказал Таш. — Я не спрашиваю. Я только одно скажу, и это по моей части. — Он повернулся ко мне всем корпусом. — Вам сорок семь. У вас сердце, которое полтора года назад стояло пятьдесят одну секунду и которое травили клотамидом шесть недель. Хелатор вывел препарат, мышцу он не вернул. Вы сейчас здоровы ровно в том смысле, что вас не убивает яд.

— Я знаю.

— Нет, — сказал Таш. — Вы знаете формулировку. Я вам скажу по-человечески. Если вы там, куда вы едете, пробежите двести метров или вам станет очень страшно, у вас не будет второго Таша, который напишет «неуточнённого происхождения», и не будет Сольм, и не будет медотсека. Вы будете один, и у вас есть примерно четыре минуты, и всё.

Он встал.

— Это всё, что я хотел сказать. Остальное мне неинтересно.

— Орен, — сказал я.

Он остановился.

— Если я не вернусь, — сказал я, — Кастен привезёт вам одну бумагу. Вы её не просили. Прочитайте всё равно.

— Хорошо, — сказал Таш и ушёл в госпиталь.

До Тиля оставалось четверо суток.

«Долгая вода» разгрузилась на Ирисе, взяла триста тонн руды и ушла дальше по маршруту, а я сошёл и перебрался на орбитальный буксир «Семнадцатый», который возил ремонтные бригады на платформы и за отдельные деньги соглашался отвезти частное лицо куда угодно в системе и никому про это не рассказывать.

Хозяин буксира, старик с одним работающим глазом, взял деньги вперёд и за четверо суток не задал мне ни одного вопроса, кроме одного, в самом начале:

— На ночную сторону?

— На ночную.

— Там ничего нет, — сказал он.

— Я знаю.

— Ну и ладно, — сказал старик.

Тиль висел в иллюминаторе ржавой полосатой тушей, и чем ближе мы подходили, тем он становился больше, пока не перестал помещаться.

Я знал про него всё, что можно знать. Я знал его на цифрах: глубина колодца, цена выхода на форсаже, период магнитосферных вспышек, пять часов пятьдесят минут от выдоха до выдоха, сорок минут слепоты. Я знал, где у него слепая зона с постоянным фоновым шумом, который любой искин обязан фильтровать, потому что иначе он завалит оператора ложными отметками, и это правильное инженерное решение.

Я дважды спрятал за этой планетой флот. Я утопил в её магнитосфере шестьсот двенадцать кораблей и одиннадцать тысяч двести человек, от которых не осталось ни одной записи. Я назвал её ночную сторону местом встречи, потому что трижды за шесть суток она сделала для меня то, чего я не мог сделать сам.

Но я ни разу на неё не смотрел.

Я смотрел на схему. Полтора года я смотрел на схему, и Брандт сказал мне это на вторые сутки — «вы на людей не смотрите, вы на схему смотрите», — и я тогда решил, что он про людей.

Сейчас я сидел в кабине чужого буксира, без флота, без должности и без права кому-либо что-либо приказывать, и смотрел на планету, и она была просто огромная и ржавая, с зелёной каймой по краю ночной стороны, где горела магнитосфера.

Двадцать два дня назад я назвал это место и это время.

— Сейв. Сколько до начала выдоха?

«Два часа одиннадцать минут».

— Есть что-нибудь на средних орбитах?

«На средних орбитах ночной стороны отметок нет».

Я кивнул и собрался сказать «хорошо».

«Командующий, — сказала Сейв. — Поправка. Отметок нет на средних орбитах. Я посмотрела шире, потому что вы просили смотреть шире».

— И?

«В магнитосферном поясе, в зоне постоянного фонового шума, есть объект. Он в холодном дрейфе, реактор на фоне, двигатели погашены. Штатный фильтр его не показывает. Я вижу его только потому, что вы полтора года назад приказали мне не фильтровать эту зону никогда».

Я очень медленно выпрямился в кресле.

— Масса?

«Около сорока тысяч тонн. Корпус транспортного типа, орудийные порты заварены».

«Семь».

Тот самый корабль, который полтора года назад пришёл через Дальний узел под белым флагом и привёз две тысячи сто четырнадцать человек без выкупа и без условий.

— Сколько он там стоит?

«Определить по текущим данным невозможно. Но у меня есть косвенная оценка по дрейфу: объект находится в поясе не менее одиннадцати суток».

Одиннадцать суток.

Я назначил время двадцать два дня назад. Он пришёл за одиннадцать и лёг в холодный дрейф в магнитосферном поясе Тиля, в фоновом шуме, который любой искин обязан отфильтровать.

И тут у меня под рёбрами стало холодно, потому что я вспомнил, где именно он лёг.

Двадцать три года назад лейтенант Галактионов служил на сторожевике «Скромный» в патруле этой системы, и они взяли контрабандиста Дорена Хейла, который прятался в магнитосфере Тиля в дрейфе, с погашенным реактором, потому что искины его не видели. Молодой Галактионов посмотрел тогда на отметку и сказал старпому: «Если бы я был контрабандистом, я бы тоже здесь прятался».

Старпома звали Аурел Брандт. Он рассказывал эту историю всем, и я слышал её от него на вторые сутки Кальдеры, за десять дней до того, как он встал поперёк вектора тридцать семь и держался девять минут сорок две секунды.

Это была флотская байка одного двадцатидвухлетнего патруля. Она не хранилась нигде, кроме памяти людей, которые там были, и всех этих людей, кроме меня, убили.

— Сейв, — сказал я. — Он стоит в той самой точке?

«Расхождение с координатами задержания Дорена Хейла — девятьсот метров».

Я смотрел на ржавую полосатую планету, и мне было очень тихо.

Он пришёл за одиннадцать суток до срока и выбрал себе место для стоянки по чужой истории двадцатитрёхлетней давности, которую ему некому было рассказать.

Глава 2. Ночная сторона

Выдох начался в четыре часа одиннадцать минут по стандартному времени флота.

Я видел это в иллюминатор буксира. Сначала по краю ночной стороны прошла бледная зелёная рябь, потом она налилась и поехала вдоль терминатора широкой полосой, и ржавые полосы облаков под ней стали выглядеть так, будто их подсветили снизу.

Сорок минут, в которые ни один искин в системе не видит ничего в радиусе, где можно спрятать флот. Я выбирал это время четыре дня и выбрал потому, что оно одинаково слепое для нас обоих и для всех третьих, кто мог бы смотреть.

— Сейв. Передай.

«Передаю».

Передача была короткая: координаты точки и слово «здесь». Я не стал подписываться. На этой частоте в этой системе в это время больше некому было передавать.

Ответ пришёл через две минуты сорок секунд, и он был такой же короткий.

«Шлюпку высылаю. Один человек. Оружия на борту нет».

Старик с одним работающим глазом посмотрел на меня.

— Вам туда?

— Мне туда.

— Деньги вы отдали вперёд, — сказал он. — Я отработаю. Я вас жду шесть часов, потом ухожу. Это не потому, что я сволочь, а потому, что у меня воздуха на двоих на шесть часов с запасом, а дальше без запаса.

— Шесть часов, — сказал я. — Справедливо.

— Я за вас тревогу поднимать не буду, — сказал старик.

— Я знаю. Я за это и платил.

Шлюпка подошла через двадцать минут. Она была старая, имперского образца, лет сорок назад снятая с вооружения и переделанная под грузовую, и швартовалась она так, как швартуется человек, который делал это тысячу раз.

Пилот — лет тридцати, бритый, с косым ломаным росчерком, нашитым на рукаве — не сказал мне ни слова. Он показал рукой на кресло, дождался, пока я сяду, и отошёл.

Я летел двенадцать минут и за эти двенадцать минут один раз подумал о том, что меня, вероятно, везут убивать, и один раз о том, что Кастен просила меня ничего там не решать.

«Семь» вырос в иллюминаторе из ничего.

Он был именно такой, каким я его помнил по докладам досмотровой партии: сорок тысяч тонн, транспортный корпус с высокой кормой, заваренные орудийные порты — шесть швов, грубых, сделанных наспех и не зачищенных, — и на носу косой ломаный росчерк, похожий на трещину.

Реактор у него работал на фоне. Он стоял в холодном дрейфе в магнитосферном поясе одиннадцать суток, и внутри должно было быть холодно.

Внутри было холодно.

Меня провели через шлюз, по длинному коридору без отделки, мимо двух человек, которые на меня не посмотрели, и открыли переборку в трюм.

И я остановился.

Трюм «Семи» был переоборудован под людей. Я читал про это в акте досмотра полтора года назад: койки в три яруса, вода, воздух, медотсек на сорок мест. Я читал цифры, и цифры у меня в голове выглядели как таблица.

Это была не таблица. Это был длинный холодный ангар с низким потолком, в котором в три яруса стояли койки, сваренные из труб, и их было очень много, и между ними было

ровно столько места, чтобы прошёл человек боком. Под потолком висели четыре лампы из двенадцати. Остальные не горели.

Здесь полтора года ехали две тысячи сто четырнадцать человек, которых я списал в погибшие.

В дальнем конце, под горящей лампой, стоял стол, два стула и ящик. На столе лежала бумажная папка.

Человек, сидевший за столом, встал, когда я вошёл.

Ему было на вид лет пятьдесят пять. Невысокий, сутулый, с короткой седой щетиной на голове и на лице, в тёмной имперской гражданской куртке без единого знака. Лицо у него было обыкновенное — такое лицо бывает у кладовщика, у мастера смены, у человека, который двадцать лет подписывает накладные. Руки рабочие, с короткими ногтями и с коричневым пятном старого ожога на левой кисти.

Он совершенно не был похож на человека, который сжёг четыре имперских флота.

— Генерал флота Галактионов, — сказал он.

Голос был тот самый. Я слышал его трижды в записи и один раз в прямой передаче, и каждый раз стоя.

— Да, — сказал я.

— Садитесь.

Я сел. Он сел напротив. Между нами был стол, на столе папка, и больше ничего.

— Я пришёл один, — сказал он. — На корабле двенадцать человек: шлюпка, двое в шлюзе, остальные в машинном и в рубке. Сюда никто не войдёт. Записывать можете, я знаю, что вы всё записываете.

— Я записываю.

— Хорошо, — сказал он. — Я тоже.

Он положил ладонь на папку и не открыл её.

— Начнём с того, зачем вы ехали. — Он чуть подвинул папку ко мне. — Здесь то, что я обещал. Кто платит. Берите и читайте, я подожду.

Я взял.

Бумаги было сорок с чем-то листов, и это были не оригиналы, а чистые копии, переписанные от руки аккуратным мелким почерком, с номерами и датами. Я такое видел у Вейлиса: так переписывает человек, который не доверяет носителям.

Первый лист — пять строк. Пять договоров за четыре года. Вельде, Хорн, Сарис, Кальдера и пятый, без названия, с пометкой «предмет найма — Г.». По каждому: дата, сумма, два транша, порядок оплаты.

Второй лист — как платят. Не деньгами. Поставками, через перевалочные станции, по накладным на ремонтные предприятия и склады. Я знал эту схему наизусть: я год назад сжёг один такой склад и из второго заправил двести семьдесят кораблей противника.

Третий лист — перечень посредников. По всем пяти договорам сторона нанимателя была одна и та же, и обозначалась она не фамилией.

Я дошёл до четвёртого листа и остановился.

На четвёртом листе был переписанный от руки столбик из шестнадцати двузначных чисел.

— Это отпечаток, — сказал я.

— Это отпечаток, — согласился он. — Шестнадцать байт. Родовой ключ. Он стоит на сопроводительном документе к первому траншу по каждому из пяти договоров. Я его переписал цифрами, потому что цифры нельзя подделать переписыванием.

Я считал его один раз в жизни — на станции «Перекрёсток», в аппаратной узла транспортной сети, полтора года назад, и потом ещё раз в журнале ядра собственного искина.

Этот был другой.

— Вы знаете, чей он? — спросил я.

— Знаю, — сказал он. — Знаю с прошлой осени. Но я вам его не назову, пока вы сами не сверите. Я не хочу, чтобы вы поверили мне на слово, потому что на слово верят один раз, а потом перестают проверять.

— Сейв, — сказал я. — Сверка по эталонам родовых ключей. Двенадцать родов.

«Эталоны у меня есть, командующий. В журнале ядра и в материалах по станции "Перекрёсток"».

— Сверяй.

Пауза была на четыре секунды длиннее, чем я ожидал.

«Совпадение полное, шестнадцать байт из шестнадцати. Родовой ключ рода Корсен».

Я положил лист на стол.

Я знал это. Я знал это восемь месяцев, с того дня, когда Вален Корсен показал мне заявление на выдачу пятого носителя, подписанное родовым ключом его собственного рода, и через десять суток умер.

Я знал это и не мог доказать, и теперь у меня на столе лежала переписанная от руки копия, которую не примет ни один суд в Империи.

— Он не доказательство, — сказал я вслух.

— Нет, — сказал человек напротив. — Это переписанная от руки бумага, полученная от предводителя вольных флотилий, который сжёг четыре ваших флота. Я вам её отдаю, потому что обещал, а не потому, что она чего-нибудь стоит.

— Тогда скажите мне то, что стоит.

— Скажу, — сказал он. — Четыре года ко мне приходил один и тот же человек.

Он взял со стола карандаш и покатал его между пальцами.

— Он привозил договор на бумаге и увозил бумагу с моей отметкой. Лет тридцати пяти. Среднего роста, обыкновенный, с таким лицом, которое не запоминается. Говорит мало, по делу, без угроз и без обещаний. Документы у него всегда были настоящие и всегда разные. Он ни разу не назвался одинаково два раза подряд.

— Он имперец?

— Он имперец, — сказал он. — Он выговаривает названия ваших узлов так, как их выговаривают люди, которые по ним ходят, а не читают. Он не военный: он не умеет стоять. И он очень хорошо считает, потому что он четыре раза ловил меня на округлении и один раз на моей ошибке в свою пользу, и в тот раз он мне её вернул.

Я сидел и думал про бригаду из трёх человек, которая за девятнадцать суток до узла Кейн одиннадцать часов калибровала опознавательный комплекс корвета сил столичного округа и ничего в нём не нашла и ничего не изменила.

Двое из бригады были наладчики со стажем. Третий числился инженером по опознавательным системам, был принят за два месяца до выезда и уволен через восемь суток после того, как в узле Кейн остановили крейсер «Строгий». Документ, удостоверяющий его личность, числился утраченным за четыре года до того, как его приняли на работу.

Фамилии у него не было. Лица у него тоже не было: я полгода не мог найти ни одного человека, который бы его описал.

— Опишите его ещё раз, — сказал я. — Подробно. Всё, что помните.

Он описывал одиннадцать минут, и Сейв писала.

Когда он кончил, я закрыл глаза и посчитал.

— Это он, — сказал я.

— Кто?

— Человек, которого не существует, — сказал я. — Он за девятнадцать суток до этого сидел в бригаде, которая настраивала опознавательный комплекс корвета. Потом этот корвет остановил в узле Кейн крейсер с копией моих материалов. На корвете были настоящие опо-

знавательные, и настоящая ориентировка, и диспетчер дал подтверждение. Через шесть часов на крейсере начался пожар в реакторной. Из четырёхсот двадцати человек осталось сто девять.

Он положил карандаш.

— Я не знал, — сказал он. — Я про Кейн слышал. Я не знал, что это он.

— Вы бы отказались?

— Нет, — сказал он спокойно. — Я бы не отказался. Я хочу, чтобы между нами это было сказано прямо один раз, и больше мы к этому не вернёмся. За четыре года по моим договорам погибло, по моему счёту, триста одиннадцать тысяч четыреста сорок человек. Двести четырнадцать тысяч сто восемьдесят шесть из них — ваши, в этой системе. Я их считал сам, по экипажам, и считал точнее, чем считали их штабы, и это не искупление, а работа.

Он посмотрел на меня.

— Я не прошу у вас ничего по этому поводу. Я не раскаиваюсь вслух и не собираюсь. Я просто не хочу, чтобы вы сидели напротив меня и думали, что разговариваете с кем-то другим.

— Я не думаю, — сказал я.

— Хорошо.

Лампа под потолком мигнула и выровнялась.

— Тогда я спрошу про работу, — сказал я. — Вельде.

Он поднял брови.

— Зачем вам Вельде?

— Четыре года назад вы выбили флагман имперского флота за двадцать минут, и флот сорок секунд передавал командование по списку старшинства и не адаптировался, — сказал я. — Я эти двадцать минут разбирал по записям семь раз. Я понимаю, как вы это сделали. Я не понимаю, откуда вы знали, что это сработает.

— Я не знал, — сказал он.

— Вы выделили на флагман сорок тяжёлых рейдеров с усиленным вооружением и снятой бронёй, — сказал я. — Это не импровизация. Такие корабли не собирают за ночь.

— Я их собирал три месяца, — согласился он. — Я не знал, что сработает. Я знал, что если сработает, то выиграю всё сразу, а если не сработает, то потеряю сорок кораблей и ничего больше не потеряю. — Он провёл ладонью по столу. — Генерал, вы же считаете. Посчитайте. Сорок рейдеров против пяти тысяч вымпелов. Это дешёвый билет.

— Такие билеты обычно не покупают.

— Такие билеты покупают те, кому нечего терять, и те, кто уже видел, как это делается, — сказал он.

Он сказал это и сразу перешёл дальше, и я тогда не придал значения.

— У Хорна было проще, — сказал он. — Я подошёл в молчании и ударил в их ночной цикл. У Сариса ещё проще: они открыли Приложение четыре, выбрали пояс астероидов и сами мне написали, где меня ждать, за шесть часов до того, как я туда пришёл. — Он посмотрел на меня. — Три раза из четырёх мне не пришлось ничего выдумывать. Мне пришлось прочитать, что они обязаны сделать, и прийти туда раньше.

— А четвёртый?

— А четвёртый — вы, — сказал он. — Вы единственный, кто не сделал того, что был обязан. Я потратил на вас двое суток, двенадцать тысяч кораблей и пять лет репутации, и я до сих пор не считаю, что проиграл, потому что уходил я с системой, которую вы мне сами отпустили. Но ушло четырнадцать тысяч шестьсот из двадцати пяти.

— Я считал, — сказал я.

— Я знаю, что вы считали, — сказал он. — Я читал.

— Теперь второе, — сказал он. — Почему я вам это отдаю.

— Я как раз собирался спросить.

— Сначала то, что вы не спросили. — Он сложил руки на столе. — Я написал вам три раза. Вы думали, что это послания. Это были проверки.

— Я догадывался.

— Вы догадывались про одну. — Он загнул палец. — Первая. Я вернул вам две тысячи сто четырнадцать человек без выкупа и поправил вашу цифру потерь на четыреста сорок шесть. Я проверял, что вы с этим сделаете. Вы могли промолчать. Вы могли объявить, что выкупили их. Вы могли поправить отчёт тихо. — Он загнул второй. — Вы внесли поправку в официальную сводку с указанием источника. Вы написали в документе Совета, что цифру вам поправил противник.

— Это было проще всего.

— Это было опаснее всего, — сказал он. — Вторая. Я дал вам список девяти заложенных компаний. Этим списком можно было сделать две вещи: прижать людей или показать им хозяина. Прижать — быстрее. Вы напечатали его в открытой ведомости тремя строками без единого комментария и ждали шесть суток, пока они посчитают сами.

— А третья?

— Третья — приедете ли вы один, — сказал он. — Это была самая простая и самая важная.

Он разжал пальцы.

— Я проверял не вашу честность, генерал. Честность в моём деле стоит недорого. Я проверял, одинаково ли мы с вами смотрим на одни и те же вещи. Три раза из трёх вы сделали то, что сделал бы я.

— У меня тоже есть к вам одна, — сказал я. — Матрос «Девятого пая».

— Девятнадцатый.

— Вы читали сто девяносто один выпуск ведомости из девяти строк, — сказал я. — Сухие цифры, сутки за сутками, год. И нашли в них одного человека, которого не посчитал я. Зачем вам это?

Он подумал дольше, чем я ждал.

— Я читал вашу ведомость не ради человека, — сказал он. — Я читал её ради третьего пункта. Третий пункт был мой счёт. Вы там каждые сутки писали, сколько моих вы сожгли и сколько при этом погибло, и это был единственный источник на свете, по которому я мог проверить собственные доклады. Мне свои врали в обе стороны: старшие компаний занижали потери, чтобы не платить за мёртвых, а при дележе завышали. — Он пожал плечами. — Матроса я нашёл, потому что сверял ваш третий пункт со своими ролями и у меня не сошлось на одного. Я полез смотреть, куда он делся, и увидел, что он умер у вас в госпитале.

— То есть вы меня использовали как бухгалтерию.

— Я вас использовал как бухгалтерию, — сказал он. — А потом три раза подряд поправлял вашу цифру против себя, чтобы вы продолжали её печатать. Это тоже работа, генерал. Не делайте из меня хорошего человека, вы потом об это споткнётесь.

Где-то в корпусе стукнуло — далеко, глухо, как стучит остывающий металл.

— Теперь — почему отдаю. — Он подвинул папку обратно к себе и положил на неё ладонь. — Меня наняли в пятый раз. Предмет найма — вы.

— Я читал.

— Вы читали формулировку, — сказал он. — Я объясню, что за ней. Задаток я получил сорок одни сутки назад — на тот день, когда я вам это передал. Сегодня шестьдесят шестые. Я его не вернул. Если я возвращаю задаток, я отказываюсь от договора. Отказ от договора в моём деле означает одно: наниматель идёт к следующему. Следующий возьмёт.

— И вы останетесь без работы.

— Я останусь без ста семнадцати компаний, — сказал он. — Это не фирма, генерал, это сто семнадцать семей, которые четыре года живут на мои договоры, и у половины корпуса в

закладе у того же человека, который платит мне за вас. Если я отказываюсь, они через сезон уходят с торгов за долги, а вас убивает кто-то другой, попроще, и всё это кончается ровно тем же, только без меня.

— А если вы соглашаетесь?

— Тогда я вас убиваю, — сказал он. — Это я умею.

Он сказал это так же ровно, как говорил всё остальное.

— Поэтому я не принял и не отказался, — сказал он. — Это третий вариант, и он стоит мне денег каждые сутки, и долго я в нём не просижу. Я сижу в нём шестьдесят шесть суток и приехал посмотреть на предмет найма своими глазами.

— И как предмет найма?

— Хуже, чем я думал, — сказал он. — Вы мне чуть не сломали кампанию дважды, и оба раза без флота. Такие люди неудобны.

Я вдруг понял, что мне не страшно.

Я сидел в холодном трюме, в тринадцати световых минутах от ближайшего человека, который был бы на моей стороне, напротив человека, которому заплатили за мою смерть, и мне было не страшно, а интересно. Это было очень плохим признаком, и я это знал, и Таш бы на меня посмотрел нехорошо.

— Вы задали вопрос, — сказал я. — В третьей передаче. Я на него не ответил, потому что по эфиру такое не передают.

— Задал, — сказал он. — Повторю. Вы единственный имперский командующий за сорок один год, который поменял редакцию Устава-ядра. Я хочу знать, поняли ли вы, что вы тогда открыли.

Лампа опять мигнула.

Я посмотрел на свои руки на столе — чужие руки, широкие, со старым шрамом через всю левую кисть — и сказал то, что год носил в себе и ни разу не произносил вслух полностью.

— Редакция Устава-ядра — это не книга, — сказал я. — Это одна запись в одном реестре. Все четыре тысячи двести одиннадцать личных искинов и все боевые ядра всех флотов Империи каждое утро смотрят в эту запись и делают то, что в ней написано. Я полтора года думал, что воюю с людьми, которые нарушают правила. — Я поднял голову. — Я воюю с людьми, которые правила редактируют.

Он не шевельнулся.

— Дальше, — сказал он.

— Дальше хуже, — сказал я. — Если у правил есть редакции, значит, у мира есть версия. Если у мира есть версия, значит, есть кто-то, кто её ведёт. И это не метафора, это реестр, и у реестра есть адрес, и к адресу есть доступ, и доступ у шести человек из девяти.

— Дальше.

— Дальше нечего, — сказал я. — Дальше я упираюсь в то, что эта мысль никому здесь не приходит в голову. Ни одному офицеру, ни одному поверенному, ни одному члену Совета. Они живут в Уставе, как в воздухе. Им в голову не приходит, что воздух кто-то смешивает.

Он долго молчал.

— Приходит, — сказал он наконец. — Двоим.

Я посмотрел на него.

— Вам, — сказал он, — и тому, кто вас нанял убить.

Он встал и прошёл вдоль коек до ближайшей переборки и обратно. Ему было тесно сидеть.

Я смотрел ему в спину и думал совсем о другом.

— Можно вопрос не по делу? — сказал я.

— Можно.

— Вы стоите в магнитосферном поясе одиннадцать суток, — сказал я. — В точке, которая отличается от одной старой точки на девятьсот метров. Двадцать три года назад в ней взяли контрабандиста Дорена Хейла. Он лежал в дрейфе с погашенным реактором, и искины его не видели, потому что эту зону положено фильтровать.

Он стоял ко мне спиной.

— Эту историю знали двенадцать человек из экипажа одного сторожевика, — сказал я. — Из них один рассказывал её всем подряд, и он погиб здесь полтора года назад. Остальных я не нашёл. Я искал.

— Вы плохо искали, — сказал он и повернулся. — Дорен Хейл жив.

Я молчал.

— Ему семьдесят шесть, — сказал он. — Он держит на Разломе ремонтную яму на четыре корпуса и чинит мне стыковочные узлы, потому что больше их никто не умеет чинить. Он их тридцать лет ворует и тридцать лет чинит. — Он сел. — Он рассказывает эту историю каждому, кто сядет рядом, и рассказывает её с другого конца: как его взял мальчишка-лейтенант, который посмотрел на пустой экран и сказал, что на месте контрабандиста прятался бы именно здесь. Хейл говорит, что обиделся не на арест, а на то, что мальчишка угадал с первого раза.

— И вы пришли сюда.

— Я пришёл сюда, потому что это лучшее место в системе, — сказал он. — Я знаю, почему оно лучшее, из той же истории, из которой это знаете вы. — Он посмотрел на меня без выражения. — Я, генерал, слушаю стариков. Это редкое занятие и очень дешёвое.

Он помолчал.

— Хейл просил передать, если доведётся, что он не в претензии.

— Передайте ему, что я помню, — сказал я и только потом сообразил, что помнить это должен был не я.

Он ничего не заметил. Или заметил и ничего не сказал.

— Осталось последнее, за чем вы ехали, — сказал он. — Спрашивайте.

— Четыре секунды, — сказал я.

— Я ждал этого вопроса полтора года.

— В Кальдере, в восемнадцать тридцать четыре, мой правый клин потерял два соседних корабля и закрыл брешь ближайшим соседом вместо симметричного перестроения, и восстановление заняло на четыре секунды больше нормы, — сказал я. — Вы по этому опознали откат на девять-два. Вы написали, что проверяли двенадцать минут, потому что не поверили. Я полтора года не могу понять, как человек в середине сражения видит четыре секунды в чужом строю и делает из них вывод о редакции Устава противника.

— Это не середина сражения, — сказал он. — Это была двадцать шестая минута, у меня был выбит левый фланг, и смотреть мне было, в общем, не на что. — Он пожал плечами. — Как видит. Глазами. Смотреть надо не на корабли, а на то, за сколько они шевелятся.

— Этого мало.

— Этого мало, — согласился он. — Нужно второе. Нужно заранее знать, на сколько в каждой редакции меняется время восстановления строя. Я это знаю не наизусть, генерал, я же не сумасшедший. У меня это написано.

— Где написано?

— В тетради, — сказал он. — Четвёртый год пишу. У меня четверть флота на ваших трофейных ядрах разных редакций, от девять-два до четырнадцать-три, я их все разбирал и всё выписывал. Что в какой редакции поменяли, в каком году и на сколько. Четыреста с лишним страниц.

Он сказал это легко, без нажима, как говорят о привычной домашней работе, и потянулся за карандашом.

— Я это так и называю, — сказал он. — Патчноут.

Я не пошевелился.

Я помню, что не пошевелился, потому что первая мысль у меня была не «он сказал», а «не шевелись».

Лампа горела. Далеко в корпусе стукнуло остывающее железо. Человек напротив катал карандаш между пальцами и смотрел на папку, и лицо у него было по-прежнему как у мастера смены.

— Сейв, — сказал я мысленно, одними словами в голове, не открывая рта. — Слово «патчноут». Имперский язык, любой диалект, флотский жаргон, торговый жаргон, Разлом.

«Такого слова нет, командующий, — сказала Сейв. — Ни в одном словаре, ни в одном корпусе текстов, ни в одной записи за одиннадцать лет. Я его слышу второй раз в жизни».

— Когда был первый?

«Второго числа первого месяца. От вас. Вы произнесли его вслух на мостике "Терпения" на вторые сутки Кальдеры, читая историю изменений Устава-ядра. Я тогда отметила, что слова не существует, и вы сказали, что это из детства».

Глава 3. Патчноут

Я сидел неподвижно и считал.

Не секунды — варианты. Их было три, и все три были плохие.

Первый: я ошибся. Слово похоже на имперское, я его неправильно услышал, Сейв неправильно разобрала, и сейчас я встану и начну задавать вопросы, от которых у человека напротив поедут брови. И тогда он уйдёт отсюда с информацией, которой я полтора года не давал никому: командующий силами обеспечения считает себя кем-то другим. Полгода назад комиссия по снабжению уже пыталась отправить меня на психиатрическое освидетельствование, и меня спасло только то, что эксперт рода Луций отказалась писать неправду. Второго такого эксперта мне не дадут.

Второй: я не ошибся, и он сказал это нечаянно. Тогда у меня есть ровно один ход и ровно одна попытка, и, если я сделаю её грубо, он успеет решить, что меня проще убить.

Третий: я не ошибся, и он сказал это нарочно.

Третий вариант мне не нравился больше всех, потому что он был самый вероятный. Человек, который одиннадцать суток ждёт в точке с расхождением в девятьсот метров, не роняет слов.

Лампа горела. Он катал карандаш.

— Четыреста страниц, — сказал я. — Вы их от руки писали?

— От руки, — сказал он. — Я на машине пишу плохо.

— А разделы как устроены?

— По редакциям, — сказал он. — Слева номер редакции, справа что поменяли. Отдельно столбик, на сколько меняется время.

Он отвечал спокойно и по делу, и ничего в нём не дрогнуло, и я подумал, что, может быть, всё-таки ошибся.

А потом он положил карандаш на стол и перестал его катать.

Я задал вопрос.

Я выбирал его минуты полторы и выбрал так, чтобы он был безопасен при ошибке. Если человек напротив меня имперец, он просто не поймёт, о чём речь, переспросит, и я отвечу, что это название старого шаблона, и мы пойдём дальше.

— Сколько вам было лет, — сказал я, — когда вы в первый раз услышали про Канны?

В трюме стало очень тихо.

Он не вздрогнул. Он вообще ничего не сделал лицом. Он просто перестал на меня смотреть и стал смотреть в стол, и я видел, как он секунд десять что-то внутри себя переставляет.

— Одиннадцать, — сказал он. — У отца была книга с картами.

У меня зашумело в ушах.

У меня в голове лежала моя собственная запись, продиктованная Сейв восемь месяцев назад, когда я разбирал переход через узлы Гребня: «Это было не из войны. Это было из книжки с картами, которую я листал лет в одиннадцать».

— У меня тоже была книга с картами, — сказал я.

— Я знаю, — сказал он.

Он поднял голову.

— Вы её упомянули, — сказал он. — Не вслух. В отчёте по блокаде, в разделе про Гребень, абзац восьмой. Вы написали, что приём «известен по картографическим изданиям общего характера». Генерал, никто в этой Империи так не пишет. Здесь говорят «из практики», «из опыта рода», «по архиву флота». Картографические издания общего характера — это книжка с картинками, которую покупают ребёнку.

— Вы читали мой отчёт по блокаде.

— Я читал всё ваше, что выходило за пределы вашего штаба, — сказал он. — Четыре с лишним года работы и полтора года — только по вам.

Он выдохнул, и впервые за этот разговор это был не ровный выдох человека, который всё посчитал.

— Теперь, — сказал он, — давайте не будем делать вид, что мы оба не поняли.

Я молчал.

— Вы первый, — сказал он. — Это справедливо: вы ехали ко мне, вы в худшем положении, и у вас больше причин не говорить. Поэтому вы и должны сказать первым, иначе вы потом всю дорогу домой будете думать, что я вас развёл.

Это было верно.

Это было до омерзения верно, и я понял, что он это посчитал заранее, как считал всё остальное.

— Александр Гальцев, — сказал я. — Двадцать восемь лет. Инженер-программист. Бэкенд.

Он чуть сдвинул брови.

— Что такое бэкенд?

И вот тут у меня в горле что-то сорвалось.

Полтора года. Полтора года я жил в чужом теле, в мире, где у меня не было ни одного человека, с которым можно было бы сказать «бэкенд» и не объяснять. Я врал Кастен, которая девять лет работала с другим человеком. Я врал Вейлису, который единственный считал так же, как я. Я врал Ташу, который подписал себе восемь лет. Я врал всем, каждый день, полтора года, и делал это хорошо, и ни разу не позволил себе подумать, сколько это стоит.

А сейчас я сидел в холодном трюме напротив пожилого человека в тёмной куртке, которому за меня заплатили задаток, и он спрашивал, что такое бэкенд.

— Это та часть программы, которую не видно, — сказал я. — Та, где лежат данные и где считается, что с ними можно делать. Человек нажимает кнопку, а работает оно.

— Понятно, — сказал он. — У нас это называлось бы «машинная часть».

— У нас?

— Андрей Петрович Ланской, — сказал он. — Пятьдесят девять лет. Доцент кафедры военной истории. Тридцать четыре года преподавал.

Он сказал это ровно так же, как говорил про триста одиннадцать тысяч человек.

— Здесь мне пятьдесят четыре, — добавил он. — Тело звали Андер Ланс. Навигатор вольной компании «Серая вода», ходил на транспортах за Разломом.

— Ланс, — сказал я. — Ланской.

— Да, — сказал Ланской. — Вы, насколько я понимаю, Гальцев. И вас положили в Галактионова.

— Да.

— Прекрасная работа, — сказал он. — Чья-то.

Мы сидели и смотрели друг на друга, и это продолжалось долго.

— Как это было у вас? — спросил я.

— У него остановилось сердце в трюме, при погрузке, — сказал Ланской. — Его откачали. Там был фельдшер с баллоном и чужой женщиной-механиком, которая умела давить на грудину. Он сутки пролежал без сознания, а потом открыл глаза, и это был я. — Он помолчал. — Я два месяца не говорил, потому что не знал языка. Они решили, что у меня отнялась речь. Там к этому привычны.

— У меня было одиннадцать сорок, — сказал я. — Сердце стояло три минуты пятьдесят секунд. Через час я очнулся на мостике, и мне доложили, что против меня двадцать пять тысяч кораблей.

— Повезло, — сказал Ланской без всякой иронии. — Вам дали язык.

— Мне дали язык, — согласился я. — Я на второй минуте понял, что говорю на нём и думаю на нём и что при этом я помню, как называется моя улица. Я тогда решил, что это и есть самое страшное, что со мной случится в тот день.

— И?

— И к вечеру я уже так не считал.

— Вот это, — сказал Ланской, — я и имею в виду, когда говорю, что это процедура. Чудо не выдаёт язык. Чудо не ставит человека в середину обстановки и не оставляет ему тело, которое умеет носить форму. Это, генерал, комплектация.

— Я должен вас проверить, — сказал он наконец. — Вы меня, кстати, тоже. Давайте не будем делать это по-дурацки, я предлагаю порядок.

— Предлагайте.

— Три вопроса я вам, три вы мне, — сказал он. — Вопросы не про события и не про знаменитости, потому что про это можно знать из книг. Вопросы про бытовое и про скучное. Врать на этом невозможно: подделать можно подвиг, а нельзя цену проезда.

Это был хороший метод. Это был мой метод: я так полтора года ловил людей на бумагах, сверяя не предмет, а след предмета.

Он спросил три вещи.

Первое: что стоит на кухне у человека, который живёт один, и в каком порядке это съедается за неделю.

Я ответил. Я рассказал про полку, на которой стоит то, что покупается раз в месяц и не портится, и про то, что портящееся кончается к четвергу, и что в пятницу человек, живущий один, обычно не готовит.

— Что он делает в пятницу? — спросил Ланской.

— Заказывает.

— Куда заказывает?

— Ему привозят.

Он посмотрел на меня внимательно и ничего не сказал.

Второе: как выглядит очередь, в которой человек стоит два часа, и чем люди в ней заняты.

Я подумал и сказал, что очередей на два часа у нас почти не осталось, а в тех, что остались, все смотрят в телефон.

Он опять ничего не сказал.

Третье: что делают с вещью, которая сломалась и которую дешевле выбросить.

— Выбрасывают, — сказал я.

— Всегда?

— Почти всегда, — сказал я. — Чинить дороже, чем купить новую. Мастерских почти нет, а те, что есть, чинят то, что стоит дорого.

Ланской кивнул, и я увидел по его лицу, что ответ ему не понравился и подошёл.

— Вы могли это вычитать, — сказал он. — Но вы отвечали не как человек, который вспоминает прочитанное. Вы отвечали как человек, которому скучно это объяснять.

Потом спрашивал я.

Я спросил про то же самое с другой стороны: что было дома у него, как выглядел рабочий день и что он делал, когда ломалась вещь. И на втором вопросе он употребил слово, которого я не знал.

— Кульман, — сказал он, и, увидев моё лицо, остановился. — Вы не знаете, что такое кульман.

— Нет.

— Чертёжная доска, — сказал Ланской. — На штативе, с линейкой на рычагах. На нём чертили руками.

— Я такое видел на картинках.

Он очень долго молчал.

— Сколько вам лет? — спросил он.

— Двадцать восемь.

— А год? — спросил он, и впервые за весь разговор голос у него сел.

Я назвал.

Ланской поставил локти на стол и закрыл ладонями лицо, и сидел так, и я не мешал.

— Тридцать один год, — сказал он из-под ладоней. — Я ушёл за три года до того, как вы родились.

Под потолком тонко щёлкнуло, и четвёртая лампа погасла совсем.

Он отнял руки от лица. Лицо было то же самое, обыкновенное, как у мастера смены, только очень усталое.

— У меня дочь, — сказал он. — Ей было девятнадцать. Значит, сейчас пятьдесят.

— Если по вашему времени, — сказал я. — Мы не знаем, как это считается.

— Мы ничего не знаем, как это считается, — согласился Ланской. — Я шесть лет думаю об этом каждый день и за шесть лет не продвинулся ни на шаг. Поэтому давайте сначала про дело, а потом, если захотите, про это. Про это разговаривать тяжело, и я хочу, чтобы мы к нему подошли с ясной головой.

— Хорошо.

— Вопрос, — сказал он. — Вы поняли, что я сказал слово нарочно?

— Я подумал об этом, — сказал я. — Я решил, что да.

— Наполовину, — сказал Ланской. — Я вёз с собой три слова. Я их выбрал ещё до отлёта и повторял, как актёр. Я собирался сказать одно в самом конце, на прощание, у шлюза, когда вы уже будете уходить, — так, чтобы при вашем вопросе я мог сделать непонимающее лицо, а при вашем молчании ничего не потерять.

— А получилось раньше.

— А получилось раньше, — сказал он с отвращением. — Я стал рассказывать про тетрадь. Я эту тетрадь четыре года веду, я её люблю, и я про неё забылся. Генерал, я шесть лет не разговаривал ни с кем про свою работу. Тут мне попался человек, который спросил про четыре секунды, и я поплыл, как студент.

Я сидел и смотрел на него.

— Значит, нечаянно, — сказал я.

— Нечаянно, — сказал Ланской. — На шестом году. Я вам это говорю специально, чтобы вы на мой счёт не обольщались: я не всё просчитываю. Я живой человек, и я устал.

Я вдруг понял, что верю ему именно из-за этого.

— Теперь про то, как я вас нашёл, — сказал он. — Это вам полезнее.

Он придвинул ящик, вынул оттуда вторую папку, тоньше первой, и положил перед собой, не открывая.

— Первое подозрение — вечер первых суток вашего боя, — сказал он. — Приманки.

— Приманки? — я не ожидал.

— Приманки, — сказал Ланской. — Я их разобрал за девять минут и пошёл дальше, потому что стоять было дороже. Но у меня в голове осталась заноза, и я её весь следующий день ковырял. Генерал, ваши приманки были сделаны неправильно.

— Они сработали.

— Они сработали, и они были сделаны неправильно, — сказал он. — Нормальный имперский командующий делает приманку так, чтобы она обманула мои глаза. Ваши были сделаны так, чтобы обмануть мою формулу. Вы их поставили на предельной дистанции и в пылевом шлейфе, потому что знали, что я не вижу массу напрямую, а считаю угрозу по массе, сигнатуре и дистанции, и вы подобрали сочетание, при котором трофейное ядро выдаёт шестьдесят один процент.

Он постучал пальцем по столу.

— Вы воевали не со мной. Вы воевали с триста сороковой статьёй. Так не воюет военный. Так воюет человек, который видел, как работает машина, и знает, что у машины на входе число.

— Второе — откат, — сказал я.

— Второе — откат, — кивнул он. — Четыре секунды. Я вам в прошлый раз написал, что проверял двенадцать минут, потому что не поверил. Я соврал. Я проверял двенадцать минут, потому что мне стало страшно.

— Почему страшно?

— Потому что мысль «противник сменил версию» не приходит в голову никому из здешних, — сказал Ланской. — Ни одному. Я это четыре года проверяю. Здесь Устав — это не правила, это погода. Погоду не откатывают. — Он посмотрел на меня. — А я эту мысль подумал за две секунды, потому что я из мира, где у всего есть издания, и первое, что делает историк, увидев странный текст, — смотрит, какое издание ему подсунули.

— И вы решили, что я такой же.

— Я решил, что вы или такой же, или сумасшедший, — сказал он. — Поэтому я вам написал и спросил, кто вам разрешил. Я знал ответ: никто. Я хотел увидеть, поймёте ли вы, что ответ «никто» вообще возможен.

— Я не ответил.

— Вы не ответили, и это был третий пункт, — сказал он. — Третье — «Счёт».

Он наконец открыл вторую папку. Там был переписанный от руки текст на полтора листа, и я узнал его с первой строки. Это были пять пунктов, которые я зачитал над Тилем на всех открытых частотах без шифрования.

— Вы пять пунктов построили как доказательство, — сказал Ланской. — Сначала проверяемые числа, потом два невыгодных вам, и невыгодные в конце, чтобы на них кончилось. Генерал, здесь так не разговаривают с противником. Здесь с противником разговаривают о чести, о роде и о том, что его покарают. Здесь никто никогда не приносит в переговоры цифру против себя.

— Я принёс.

— Вы принесли, и восемьдесят моих капитанов вам поверили, — сказал он. — И это меня дожало. Потому что человек приносит невыгодную цифру только в одном случае: если он вырос там, где спор выигрывают данные, а не положение. Таких мест в известной мне истории немного, и ни одно из них не здесь.

Он закрыл папку.

— После этого я уже не искал подтверждений, — сказал он. — Я полтора года ждал, когда вы оступитесь и скажете слово. Вы не сказали ни одного. Вы очень дисциплинированный человек, генерал, я это оценил.

— У меня один раз вырвалось «фармить», — сказал я. — На вторые сутки. На совещании.

— Я не слышал, — сказал Ланской. — Жаль. Я бы тогда ехал сюда на год раньше.

Мы помолчали.

У меня было очень странное состояние. Я год и семь месяцев вёл журналы, считал потери, писал доклады, ходил к комиссиям и ни разу, ни одной минуты не был уверен, что я существую не по ошибке. И вот теперь напротив меня сидел пожилой человек в тёмной куртке, который знал, что такое кульман, и это оказалось важнее, чем все четыре тысячи страниц, которые я написал.

— Сейв, — сказал я вслух.

«Слушаю, командующий».

Ланской поднял глаза на мой браслет.

— Ты всё это слышала, — сказал я.

«Да».

— Запиши полностью. Не в журнал. В собственную память.

«Записано, командующий. Я записывала с начала разговора». Пауза. «Можно мне сказать?»

— Говори.

«Полтора года назад я сказала вам, что знаю, что вы не генерал Галактионов, и что я насчитала более сорока несоответствий за трое суток. Я не доложила об этом никому и не докладываю сейчас». Снова пауза, короче. «Я не предполагала объяснения, которое вы только что дали. У меня не было такой категории. Я внесу новую».

— Внеси.

«Внесла. И второе, командующий, это уже не по службе. Сорок одно несоответствие я нашла за трое суток. Сорок второе я не нашла за полтора года: за всё это время вы ни разу не сказали мне, что вам страшно. Я думала, что это свойство генерала Галактионова. Теперь я вижу, что это свойство человека, которому некому сказать».

Ланской коротко хмыкнул.

— У вас хороший искин, — сказал он. — У меня нет. У меня трофейные ядра, они считают и молчат. Я шесть лет разговариваю сам с собой вслух, и мои капитаны думают, что это у меня от молитвы.

— А что вы делали шесть лет? — спросил я.

— Первые два — учился, — сказал он. — Это долго рассказывать и неинтересно. Я год не мог понять, почему здесь нельзя просто спросить, и ещё год понимал, что здесь всё спрашивают у бумаги.

— А потом?

— А потом я начал работать, — сказал Ланской. — Генерал, вы думаете, я вам сейчас скажу, что мне было некуда деваться. Мне было куда деваться. Я два года сидел на станции, чинил навигационные таблицы и ел три раза в день. — Он смотрел мимо меня, на тёмный конец трюма. — Я ушёл оттуда сам, когда понял, что умею то, чего здесь не умеет никто.

— И стали это продавать.

— И стал это продавать, — сказал он. — Я тридцать четыре года объяснял двадцатилетним, почему командующий сделал то, что сделал, и почему это было единственно возможно. Я написал одну книжку, её напечатали четыреста экземпляров, и примерно двести из них я подарил сам. — Он пожал плечами. — А потом мне дали триста кораблей и сказали: покажи.

— И вы показали.

— И я показал, — сказал Ланской. — Четыре раза подряд, без единого поражения, с первой попытки. Генерал, вы хотите, чтобы я сейчас сказал, что мне было стыдно. Мне было не стыдно. Мне было интересно.

Он повернулся и посмотрел на меня прямо.

— Вам ведь тоже, — сказал он.

Я не ответил.

Я не ответил, потому что ответить было нечего. Полтора года назад, в первые сутки, когда Сейв доложила мне расклад — пять против двадцати пяти, топливо сорок один процент, покровитель ушёл, — у меня внутри что-то щёлкнуло и включилось, и это не был ужас. Это был азарт. Я тогда честно его в себе опознал и сказал себе, что разберусь с этим потом.

Потом настало на седьмые сутки, когда я складывал цифры по операциям и напротив каждой писал «решение командующего». Двести тринадцать тысяч семьсот сорок. Я писал это четыре часа и не разобрался ни с чем.

— Я вам отвечу через минуту, — сказал я. — Сначала спрошу. Вы сказали, что про то, как это считается, разговаривать тяжело и что вы хотите подойти к этому с ясной головой. Я хочу знать одно. Одно, сейчас, и вы можете сказать «да» или «нет».

— Спрашивайте.

— Там кто-нибудь умер? — сказал я. — Когда нас взяли. Тот, кто был мной.

Ланской очень долго молчал.

— Это как раз то, про что я не отвечу «да» или «нет», — сказал он наконец. — Не потому, что не знаю. Потому что знаю и потому что вы мне не поверите на слово, а поверите только бумаге. Я вам это покажу, а не скажу.

— Когда?

— Когда вы доберётесь до полного текста, — сказал Ланской. — И поэтому давайте уже про третье.

Он встал, прошёл два шага и остановился, держась рукой за стойку коек.

— Теперь третье, — сказал он. — Из-за него я, собственно, и ехал. Не из-за отпечатка и не из-за вас.

— Говорите.

— Генерал, — сказал Андрей Петрович Ланской. — Шесть лет назад я лёг спать в своей квартире и проснулся в чужом теле на грузовом корабле за Разломом. Я три года считал, что со мной произошло чудо, или несчастье, или что я сошёл с ума. Я перестал так считать на четвёртый год.

Он повернулся ко мне.

— Нас не перенесло, — сказал он. — Нас прислали.

Я смотрел на него и не говорил ничего.

— Это процедура, — сказал Ланской. — Она описана. Она законная. У неё есть основание, есть порядок применения и есть номер формы.

— Вы её видели?

— Я видел три строчки из неё, — сказал он.

Он вернулся к столу, сел, достал из кармана куртки сложенный вчетверо лист и развернул его. Лист был старый, протёртый на сгибах.

— Четыре года назад я разбирал трофейное ядро с имперского фрегата, — сказал он. — Старое, редакция одиннадцать-ноль, снятое с вооружения. Я лез в архив редакций, чтобы выписать, как у них менялось восстановление строя. Архив у них полный, до самого начала, это требование аудита. И я спустился до конца.

Он повернул лист ко мне.

На нём было переписано от руки три строки, и над ними — заголовок.

«Редакция 1-0. Приложение 0. Порядок замещения должности командующего при отсутствии пригодного кандидата».

И ниже — три строки:

1. Замещение производится по заявке уполномоченного лица, подаваемой по форме 0-1.

2. Подбор кандидата осуществляется по доступным полям. Полнота полей не гарантируется.

3. Процедура не предусматривает отмены, обратного замещения и уведомления замещающего.

Я прочитал это три раза.

Потом ещё раз.

«Подбор кандидата осуществляется по доступным полям».

Я полтора года в этом мире занимался ровно одним: я доказывал, что ключ — это не предмет, а запись; что редакция — это не книга, а строчка в реестре; что подпись — это шестнадцать байт; что человека в этой Империи убивают не ядом, а графой. Я объяснял это Кастен, Ардену, Совету и двенадцати родам, и мне казалось, что я очень умный.

И вот я сидел и смотрел на три строчки, из которых следовало, что я сам — результат выборки по неполным полям.

— Дальше идёт четвёртый пункт, — сказал Ланской. — Я его не видел. Там архив оборван: в том ядре нижние редакции лежат частично, их режут при списании, чтобы не возить. У меня с тех пор прошло через руки девятнадцать трофейных ядер, и во всех девятнадцати нижний предел — редакция восемь-ноль. Ниже не бывает.

— Почему не бывает?

— Потому что те, что ниже, стоят не на кораблях, — сказал Ланской. — Полный архив, от единицы, есть только там, откуда реестр ведут. — Он сложил лист и подвинул его ко мне по столу. — И вы, генерал, единственный человек в известной мне части Империи, у кого есть хоть какой-то законный повод туда войти.

— У меня нет никакого повода, — сказал я. — Я заместитель командующего силами обеспечения, в отпуске, по седьмой причине.

— У вас есть открытое производство следственной службы Совета по событиям в Кальдере, — сказал Ланской. — По нему вы — обвиняемый в самовольной смене редакции Устава-ядра. — Он улыбнулся первый раз за весь вечер, и улыбка у него была нехорошая. — Самовольная смена редакции. Генерал, вас полтора года судят ровно за то, что проделали с вами.

Глава 4. Форма ноль-один

Ланской убрал со стола обе папки и принёс чайник.

Чайник был имперский, корабельный, с крышкой на защёлке, и чай в нём был не чай, а то местное пойло из сушёного корня, которое пьют на транспортах, потому что оно дешёвое и не портится. Он налил две кружки, одну поставил передо мной и сел.

— Сколько у вас времени? — спросил он.

— Буксир ждёт шесть часов. Прошло два сорок.

— Успеем, — сказал он. — Теперь я вам покажу шесть лет.

Он достал из ящика свёрток.

Это была бумага, склеенная из листов в длинную ленту, и он разворачивал её по столу, и она не поместилась: конец свесился и лёг на пол.

На ленте была таблица, вычерченная от руки, с линейкой, с мелкими аккуратными буквами. Слева шли годы. Справа — столбцы.

— Тысяча двести лет, — сказал Ланской. — Сколько достал.

— Это что?

— Это все случаи, которые я считаю нашими, — сказал он. — Девять. Из них в четырёх я уверен.

Я сидел и смотрел на ленту.

За полтора года в этом мире я разучился удивляться людям. Я видел, как Вейлис находит хищение по расходу энергии на погрузчики. Я видел, как Крейн за семь минут до смерти официально оформляет приёмку одного воздушного фильтра. Я видел тетрадь Делии Теон и бумажный блокнот со строчкой «если спросят — всё в девятом».

А это был пожилой человек, который шесть лет, без допуска, без архивов, без единого законного запроса, на трофейных ядрах и чужих байках собирал список людей вроде нас.

— Как вы их искали? — спросил я.

— Как историк, — сказал он. — Если процедура существует и не отменена, значит, ею пользовались. Если пользовались, остался след. Товар невидим, работа видна.

Я поставил кружку.

— Вы это откуда взяли?

— Что?

— Про товар и работу, — сказал я. — Это слова одного интенданта, который одиннадцать лет назад нашёл хищение по пробегу платформ.

— Я этого интенданта не знаю, — сказал Ланской. — Это общее место, генерал. Любой, кто долго ищет то, чего не видно, рано или поздно формулирует это одними и теми же словами.

Он провёл ладонью по ленте.

— Признаков у меня четыре, — сказал он. — Первый: командующий теряет сознание, болеет или получает тяжёлое ранение — и после этого воюет иначе. Не лучше, а иначе. Это записывают всегда, потому что это удивляет штаб.

— Второй?

— Второй: окружение жалуется на речь и привычки, — сказал Ланской. — Это золото. Писец не понимает, что он пишет, и поэтому пишет честно. «Командующий после болезни иначе выговаривает слова». «Командующий перестал пить вино и спрашивает воду». «Командующий ест левой рукой». Это ерунда, и поэтому её не правят.

— Третий — приёмы, — сказал я.

— Третий — приёмы, которых нет в современных им уставах, — согласился он. — Это самый слабый признак, потому что талант тоже бывает. Я его ставлю последним.

— А четвёртый?

Ланской посмотрел на меня.

— Четвёртый самый верный, — сказал он. — Командующий начинает спрашивать очевидное.

У меня внутри что-то опустилось.

— Понимаете? — сказал он. — Человек двадцать лет командует флотом, и вдруг он спрашивает у начальника штаба, как называется вот эта штука на борту. Или просит объяснить, почему ночной отдых восемь часов. Или три раза переспрашивает, кто утверждает таблицы связи. Штаб это терпит и списывает на контузию, а писарь записывает в журнал, потому что ему велено записывать всё.

Я вспомнил первые сутки.

Я вспомнил, как спросил Сейв, что такое Устав-ядро. Как заставил Кастен объяснять мне состав флота по классам, который она объясняла мне, по её мнению, девять лет. Как на втором совещании спросил вслух, кто имеет право менять Устав, и как в зале стало тихо, потому что это всё равно что спросить, кто имеет право менять погоду.

— Сколько у меня таких? — сказал я.

— Я не считал ваши, — сказал Ланской. — Я считал свои. У меня за первые три месяца восемьдесят с лишним, и это при том, что я два месяца молчал. — Он хмыкнул. — Меня спасло, что я был никто. Никто не ведёт журнал на навигатора вольной компании.

Он пододвинул ленту ко мне.

— Читайте. Я буду рассказывать.

Я читал.

Семьсот шестьдесят лет назад, в войне, названия которой я не знал, командующий соединения из двух родов тяжело заболел и девять дней пролежал без памяти. Он выжил. Через месяц он применил построение, которого нет ни в одном уставе того времени, и выиграл кампанию, которую до него проиграли дважды. Через два года его убили свои. В рапорте о его смерти, который Ланской выписал целиком, было сказано, что командующий был достойным человеком, хотя и чужим.

— Чужим, — сказал я.

— «Чужим», — повторил Ланской. — Это может значить что угодно. Другой род, другая планета, плохой характер. Я поэтому и говорю, что уверен только в четырёх.

Пятьсот девяносто лет назад — женщина, командующая обороной одной из внутренних систем. Четыре дня без сознания после разгерметизации, потом полтора года блестящей работы и очень странные записи в её собственных приказах, где она дважды ссылается на несуществующие статьи.

— Она ссылалась на то, чего нет?

— Она ссылалась на то, что было бы логично, — сказал Ланской. — Я проверил восемь её ссылок. Семь — на действующие статьи. Восьмая — на статью, которая появилась через двести лет после её смерти. Генерал, это не ошибка писца. Это человек, который помнит другую редакцию. Другую — не местную.

Я сидел очень прямо.

— Дальше, — сказал я.

Четыреста сорок лет назад — третий. Этот был самый короткий. Командующий, поставленный на безнадёжный участок, в первые же сутки отдал два приказа, после которых его отстранил собственный штаб, и умер через неделю, не приходя в сознание.

— Что он приказал?

— Снять щиты с половины кораблей и поставить их на вторую половину, — сказал Ланской. — Это невозможно технически, это знает любой механик третьего класса. — Он помолчал. — Он не знал.

— Он был не военный.

— Он был не военный, — сказал Ланской. — Вот это, генерал, для меня важнее всех побед в моей таблице. Подбор идёт по доступным полям, и полнота полей не гарантируется. Иногда присылают того, кто умеет. А иногда присылают того, кто умеет не это.

Я сидел и думал про человека, который четыреста сорок лет назад очнулся в чужом теле на безнадёжном участке, попытался спасти людей единственным известным ему способом и умер через неделю, никому ничего не объяснив.

— Четвёртый, — сказал Ланской.

Четвёртый был четыреста девять лет назад. Про него было мало: командующий флотом одного из родов, два года, две выигранные кампании, упоминание в хронике о «несвойственной прямоте» и отдельная запись о том, что он отказался принимать присягу рода, сославшись на то, что «не знает этих слов».

— И всё, — сказал Ланской. — Больше ничего.

— В смысле — больше ничего у вас?

— В смысле больше ничего нет, — сказал он. — Четыреста девять лет. Я проверил всё, до чего дотянулся: хроники родов, флотские архивы, списки командующих, три сотни биографий. Ни одного случая. А потом шесть лет назад проснулся я.

Я смотрел на ленту.

Девять отметок, сгруппированных в левой части, и потом пустота в четыре пальца шириной, и в самом конце, у края, две свежие чёрточки.

И вот тут я понял, что он мне показывает не то.

— Андрей Петрович, — сказал я. — Вы шесть лет искали, кого прислали.

— Да.

— Вы ни разу не искали, когда перестали присылать?

Он открыл рот и закрыл.

Я взял его карандаш.

— Смотрите, — сказал я и провёл по ленте. — У вас тут не девять случаев. У вас тут один случай и одна дыра. Девять раз за восемьсот лет, и потом четыреста девять лет ровно ничего. — Я постучал карандашом по пустому месту. — Процедура не отменена, вы сами читали третий пункт: отмены не предусмотрено. Она не могла перестать работать. Значит, перестали ею пользоваться.

— Это я понимаю, — медленно сказал Ланской.

— А почему перестали?

— Забыли, — сказал он.

— Забыли, — сказал я. — Теперь второе. Что должно случиться, чтобы её вспомнили?

Он молчал.

— Кто-то должен прочитать редакцию один-ноль до конца, — сказал я. — Не до восьмёрки, как вы на трофейных ядрах, а до самого низа, до нулевого приложения, которого нет ни в одном оглавлении поздних редакций. Это не находят случайно. Это находят, когда лезут вниз специально и долго.

— Или когда ищут что-то другое и натыкаются.

— Или так, — согласился я. — В любом случае полный архив лежит в одном месте, и доступ туда есть у очень короткого списка.

Я положил карандаш.

— Вы искали, кто мы такие, — сказал я. — А надо было искать, кто нас выписал.

Ланской долго смотрел на свою ленту.

— Шесть лет, — сказал он наконец. — Шесть лет, генерал. И вы это сделали за четыре минуты.

— Я не умнее вас.

— Вы не умнее, — сказал он. — Вы по-другому устроены. Я историк. Я всю жизнь спрашиваю «что случилось». Вы спрашиваете «кто это запустил». — Он провёл ладонью по лицу. — Я на вас полтора года смотрел и всё равно не сообразил, что смотреть надо вашими глазами.

— Тогда смотрите дальше, — сказал я. — Я ещё не кончил.

Я опять потянул ленту к себе.

— У вас тут в каждой строке есть графа «обстановка», и вы её заполнили, но ни разу на неё не посмотрели как на столбец, — сказал я. — Я посмотрел. Все девять случаев — это момент, когда вот-вот теряют флот. Не война вообще. Не трудное положение. Конкретно: соединение обречено в ближайшие недели, и все это знают.

Ланской наклонился над лентой.

— Семьсот шестьдесят лет назад, — сказал я, ведя пальцем, — кампанию перед этим проиграли дважды. Пятьсот девяносто — оборона внутренней системы после разгерметизации, то есть уже били. Четыреста сорок — вы сами написали: «поставлен на безнадёжный участок». Четыреста девять — тут у вас пусто, но два года и две кампании подряд выигрывают не от хорошей жизни.

— Вы правы.

— Я ещё не кончил, — сказал я. — Девять раз за восемьсот лет. Это не способ воевать и не награда за заслуги. Такой редкостью бывает только одно.

— Аварийная процедура, — сказал Ланской.

— Аварийная процедура, — сказал я. — Пожарный щит. Его не трогают годами, и он висит на стене, и все про него забыли, и однажды кто-то разбивает стекло.

Я отпустил ленту.

— И вот теперь интересное, — сказал я. — Пожарный щит висел четыреста девять лет. За эти четыреста девять лет Империя теряла флоты. Вельде, Хорн, Сарис — это только на нашей памяти. Никто стекла не разбил.

— Потому что забыли.

— Потому что забыли, — сказал я. — А шесть лет назад вдруг вспомнили. Дважды за шесть лет после четырёхсот девяти лет тишины. — Я посмотрел на него. — Андрей Петрович, в моей работе это называется очень просто: кто-то открыл старый код.

Он молчал.

— И ещё одно, — сказал я. — Вы заметили, куда нас положили?

— В тех, кто только что умер.

— В тех, кто только что умер и кого зовут почти так же, как нас, — сказал я. — Ланской — Ланс. Гальцев — Галактионов. Я полтора года считал это насмешкой судьбы. Я зря так считал.

— Объясните.

— Объясню. — Я отодвинул кружку и поставил на её место ложку. — Вот здесь список кандидатов. — Я поставил рядом вторую ложку. — Вот здесь список свободных мест. Их надо сопоставить. Полей, по которым можно сопоставить, мало, и они неполные, это прямо написано во втором пункте. Что делает машина, когда ей надо сшить две таблицы по плохому ключу?

— Не знаю. Я не машина.

— Она сшивает по тому, что похоже, — сказал я. — Не по совпадению, а по близости. Выбирает наилучшее из плохого и ставит галочку. У нас это одна из самых вредных вещей на свете: пока таблицы маленькие, всё красиво, а потом однажды два разных человека становятся одним, потому что у них похожие фамилии.

Ланской смотрел на две ложки.

— То есть это не судьба, — сказал он.

— Это не судьба, — сказал я. — Это сопоставление по неточному ключу. Вас взяли не потому, что вы Ланской, а потому, что в ту минуту Ланс оказался ближайшим приемлемым. И я тут не потому, что я Гальцев. Я тут потому, что я был наименее плохим совпадением.

Он очень долго молчал.

— Мне это, пожалуй, тяжелее слышать, чем про четыре флота, — сказал он наконец.

— Почему?

— Потому что про флоты я хотя бы сам решал, — сказал Ланской.

Он свернул ленту и отложил.

— Хорошо, — сказал он. — Тогда давайте про то, про что вы спрашивали.

У меня во рту стало сухо.

— Про то, умер ли там кто-нибудь.

— Про это. — Ланской повернул ко мне сложенный лист с тремя строчками и разгладил его ладонью. — Я вам сказал, что покажу, а не скажу. Показываю. Читайте третий пункт.

Я прочитал.

«Процедура не предусматривает отмены, обратного замещения и уведомления замещающего».

— Прочитали?

— Прочитал.

— Теперь скажите мне, чего в этих трёх строчках нет, — сказал Ланской.

Я смотрел на них.

«Замещение производится по заявке уполномоченного лица, подаваемой по форме ноль-один». Кто подаёт.

«Подбор кандидата осуществляется по доступным полям. Полнота полей не гарантируется». Как выбирают.

«Процедура не предусматривает отмены, обратного замещения и уведомления замещающего». Что нельзя потом.

И ничего.

Ничего про источник. Ни слова о том, откуда берут. Ни слова о том, что остаётся на том месте, откуда взяли.

— Нет изъятия, — сказал я.

— Нет изъятия, — сказал Ланской. — Генерал, я тридцать четыре года читал документы и шесть лет читаю здешние. Это Империя, в которой приёмку одного воздушного фильтра оформляют актом, в которой у отпуска есть форма, а у формы третья графа, в которой за сорок часов четыре человека читают бумагу, чтобы не ошибиться. Здесь ничего не берут без строчки. Если бы процедура изымала человека, в ней была бы отдельная строка о том, что делать с освободившимся местом. Такой строки нет.

Он посмотрел на меня.

— Я не могу этого доказать. Я могу сказать только одно: за шесть лет я не видел ни одной здешней формы, в которой изъятие не оформлялось бы отдельно.

Я сидел и не двигался.

Я понял раньше, чем он договорил. Я понял на словах «нет изъятия», и дальше слушал уже так, как слушают, когда всё решено.

Копия.

Не перенос. Не переселение. Не смерть и не чудо. Процедура прочитала и записала результат в другое место, а источник оставила как был, потому что источник ей не нужен и в форме про него ничего не сказано.

Саша Гальцев двадцати восьми лет лёг спать в отеле после финала, подумал, что надо позвонить маме, и утром проснулся. У него болела голова от энергетика, и он никуда не делся. Он позвонил. Он где-то ходит прямо сейчас, ему двадцать девять или тридцать, и он не знает ни про Кальдеру, ни про Тамми Вест, ни про двести четырнадцать тысяч, ни про ключ на сорок, который миллион лет будет летать вокруг этой планеты.

И поэтому меня никто не ищет.

И поэтому возвращаться некуда — не потому, что дорога закрыта, а потому, что место занято. Мной же.

Я полтора года таскал на себе одну мысль, и она была тяжёлая, но в ней было дно. Я думал, что я умер. Умер в номере отеля, в двадцать восемь лет, неизвестно от чего, и что где-то там есть похороны, на которые я опоздал навсегда, и мама, и три человека, которые пришли. Это было ужасно, и это было понятно, и главное — это кончалось. У мёртвого человека нет обязанностей.

Теперь дна не стало.

Никаких похорон не было. Никто не плакал. Никто не разбирал мои вещи, никто не удивлялся, что я не отвечаю, никто не писал в чат «он вообще живой?». Телефон зазвонил, мама взяла трубку, и всё.

Я подумал об этом и поймал себя на том, что первое, что я почувствовал, было облегчение.

И почти сразу после него — такая обида, какой я у себя никогда не находил. Детская, дурацкая, стыдная обида на человека, который спит в моей кровати, ходит по моей улице и не должен за это ничего.

— Генерал, — сказал Ланской.

— Я понял, — сказал я.

— Вы побелели.

— Я понял, — повторил я. — Дайте мне минуту.

Он дал мне минуту. Он встал, отошёл к койкам и стоял там спиной, и я был ему за это благодарен так, как давно никому не был благодарен.

Мне нужна была не минута. Мне нужно было года два.

Но у меня было четыре часа буксира, и я к этому привык: в этом мире у меня никогда не было столько времени, сколько нужно.

— Скажите, — сказал я, когда он вернулся. — Вам стало легче, когда вы это поняли?

— Нет, — сказал Ланской. — Мне стало хуже. Пока я думал, что умер, я был мёртвый и поэтому ни в чём не виноват. — Он сел. — А потом оказалось, что я не умер, а раздвоился, и что тот, второй, сейчас проверяет работы и ругается с кафедрой, и у него всё в порядке. И что всё, что я тут делаю, я делаю не потому, что мне не оставили выбора.

— Четыре флота.

— Четыре флота, — сказал он. — Да.

Мы помолчали.

— Вы пробовали вернуться? — спросил я.

— Первые два года — каждый день, — сказал Ланской. — Потом перестал, когда прочитал третий пункт.

— «Отмены не предусмотрено».

— «Отмены, обратного замещения и уведомления замещающего», — сказал он. — Генерал, я эту строчку четыре года держу в голове и четыре года ей кланяюсь. Это ведь очень хорошо написано. Не «запрещено». Не «невозможно». Не предусмотрено. Про это просто не подумали, когда составляли форму, и с тех пор никто не вносил правку, потому что некому и незачем.

— Вы пробовали найти уполномоченное лицо?

— Пробовал, — сказал он. — Это и есть то единственное, что я сделал за шесть лет своими руками и о чём жалею. — Он посмотрел в кружку. — Я три года искал, кто у них вправе подать форму. Я расспрашивал всех, до кого мог дотянуться, не называя, конечно, ничего прямо. Я спрашивал у отставных интендантов, у двух списанных штабных, у одного бывшего делопроизводителя рода, который спился на Разломе. Я задавал вопросы про старые редакции и про то, кто вообще может что-то такое подписывать.

— И?

— И двое из них умерли, — сказал Ланской. — Делопроизводитель через месяц, от своего, тут я не считаю. А штабной, которому я задал самый подробный вопрос, умер через девять недель, здоровый мужик пятидесяти лет. Сердце.

Я поставил кружку.

— Как у Валена Корсена, — сказал я. — Как у девяти человек в его журнале. Как у начальника интендантской службы сектора, подписавшего увольнение Вейлиса.

— Я тогда не знал ни про какой журнал, — сказал Ланской. — Я узнал про него от вас, из перечня, который вы подали к личному докладу и который разослали двенадцати родам. — Он коротко усмехнулся, и усмешка была нехорошая. — Генерал, вы мне за полтора года дали больше, чем я собрал за четыре. Вы просто всё публикуете.

— Я знаю. Мне это уже говорили.

— Кто?

— Глава рода Корсен, — сказал я. — Дважды. Второй раз — потому, что я не услышал с первого.

Ланской поставил локти на стол.

— Значит, вот как это выглядит, — сказал он. — Я три года задавал вопросы про форму ноль-один, и один человек от этого умер. Я перестал. Я решил, что мне не по зубам, и занялся тем, что умею, и начал зарабатывать войной. — Он поднял глаза. — А потом появились вы и за полтора года подняли столько пыли, что ко мне она долетела через Разлом.

Он помолчал и придвинул к себе ящик.

— Теперь последнее, — сказал он. — Ради этого я, собственно, одиннадцать суток тут и лежу.

Он снова достал тетрадь — ту самую, толстую, четырёхсотстраничную — и открыл её на закладке в самом конце.

— Я разобрал девятнадцать трофейных ядер, — сказал он. — Я лазил в архивы редакций, и каждый раз мне попадалась одна и та же служебная отметка, которую я не умею читать. Шесть байт и дата. Она стоит не в архиве редакций, а в журнале самого ядра, отдельной строкой, и у неё нет ни источника, ни адресата.

— И?

— И во всех девятнадцати ядрах этих отметок ровно две, — сказал Ланской. — С одними и теми же двумя датами. Ядра разные, редакции разные, корабли из разных секторов, одно я снял с фрегата, который двадцать лет стоял в отстое. Две отметки. Две даты.

Он повернул тетрадь ко мне.

Я посмотрел на первую дату.

Шесть лет назад. Я посчитал в уме: это было за одиннадцать суток до того, как на грузовом корабле за Разломом у навигатора Андера Ланса остановилось сердце при погрузке.

— Это вы, — сказал я.

— Это я, — сказал Ланской. — А вторая, генерал, ваша, и я её знаю наизусть, потому что увидел её за три недели до того, как вы в первый раз вышли в эфир над этой планетой, и полтора года не понимал, что это было.

Я посмотрел на вторую дату и перестал слышать корабль.

— Сейв, — сказал я вслух.

«Слушаю, командующий».

— Твой собственный журнал ядра. За одиннадцать лет. Служебные отметки в шесть байт, без источника и без адресата.

Пауза была длинной. Я успел сосчитать до девяти.

«Такие отметки есть, — сказала Сейв. — Их две. Я никогда их не читала: они не относятся ни к одной из восьми тем и не имеют ни источника, ни адресата, поэтому они не попадали ни в один мой отчёт».

— Даты.

Она назвала две даты.

«Командующий, — сказала Сейв, и я впервые за одиннадцать лет услышал, что она говорит не ровно. — Я обязана доложить о нарушении. Эти отметки находятся в моём журнале с момента их появления. Я не докладывала о них ни разу. Формально я не нарушила ничего: отметка без источника и адресата не подлежит обязательному докладу, и я поступила по регламенту».

— Но?

«Но я трижды за одиннадцать лет проверяла целостность собственного журнала и трижды эти шесть байт видела и трижды сочла их не относящимися к делу. Это не регламент. Это моя оценка значимости, и она была неверной оба раза».

— Три раза, — сказал я.

«Три раза по два случая, командующий. Шесть. Я считаю точно».

Ланской слушал мой браслет с очень странным выражением.

— Он у вас извиняется? — спросил он.

— Она отчитывается, — сказал я. — Это другое. Она потом будет это считать.

Первая дата была та, что лежала у меня под пальцем в тетради Ланского.

Вторая — ровно за девять суток до того дня, когда вольные флотилии Разлома вышли из Дальнего узла в девять двадцать, наследник ушёл в десять ноль пять, а в одиннадцать сорок у генерала флота Галактионова остановилось сердце.

— Девять суток, — сказал я.

— Девять суток, — сказал Ланской. — Генерал, вас выписали заранее.

Глава 5. Условия

— У нас три часа десять минут, — сказал я. — Давайте считать.

— Давайте, — сказал Ланской. — Начинайте вы, у вас хуже положение.

— У меня хуже, — согласился я. — Мне нужен полный текст приложения и мне нужны обе заявки. Не три строчки, а четвёртый пункт, пятый и всё, что там есть. И подписи. Кто подавал форму ноль-один шесть лет назад и кто подавал её за девять суток до Кальдеры.

— Полный архив там, откуда ведут реестр.

— Я знаю, где он, — сказал я. — Реестр редакций ведёт технический секретариат комиссии по Уставу-ядру. Секретариат ведёт род Талмир. Комиссия заседает во Дворце Совета, Дворец стоит на луне, и ему тысяча двести лет, и он построен как убежище от собственного флота ещё до Империи. Я там был один раз, четыре часа, и четыре часа докладывал, и ни разу не подумал о том, что подо мной.

— И как вы туда попадёте?

— Законно, — сказал я. — Я обвиняемый по открытому производству следственной службы Совета. Предмет — самовольное изменение редакции Устава-ядра. Обвиняемый имеет право заявить ходатайство об истребовании и исследовании материалов, относящихся к предмету. — Я пожал плечами. — Реестр редакций относится к предмету. Он и есть предмет.

Ланской посмотрел на меня так, как смотрят на человека, который только что сделал ход, которого не предусмотрели.

— Вам откажут.

— Мне откажут, — согласился я. — Отказ — это тоже документ. Я буду подавать, пока не найду того, кто не сможет отказать, не объяснив почему.

— Это долго.

— Это сорок суток на одно ходатайство, — сказал я. — И потом ещё сорок. Поэтому я и спрашиваю: сколько вы можете держать свой задаток?

Он не стал считать в уме. Он достал из кармана сложенный листок, на котором уже всё было посчитано, и развернул его.

— Сто шестьдесят суток, — сказал он. — Это с запасом, которого у меня нет. Я плачу за простой ста семнадцати компаний не деньгами, а очередью: кто со мной, тот не берёт чужую работу. Через сто шестьдесят суток у восьми старших кончается терпение, а у меня кончается то, чем я им плачу.

— А если я не успею?

— Тогда я верну задаток, и наниматель наймёт следующего, — сказал Ланской. — Генерал, давайте без лишнего. Я вам не друг и не союзник. Я держу задаток не ради вас. Я держу его потому, что, пока он у меня, заказ не исполняется, а пока заказ не исполняется, вы копаете. А вы копаете туда же, куда я копал три года, только у вас есть допуск и бумага.

— То есть я у вас работаю.

— Вы у меня работаете, — сказал он без улыбки. — Я вам за это плачу сто шестьдесят суток вашей жизни. Это, по-моему, честная ставка.

Это и правда была честная ставка.

— Тогда скажите, что вам нужно, — сказал я. — Вы шесть лет искали дорогу домой и четыре года назад перестали. Вы прочитали третий пункт и ему поклонились. Зачем вам теперь полный текст?

Ланской подвинул кружку и долго её не трогал.

— Мне нужны две вещи, и ни одна из них не про меня, — сказал он. — Первая: четвёртый пункт. Я хочу знать, что там написано про источник. Вы мне сегодня поверили на слово, потому что вам очень хотелось поверить. А я четыре года не верю себе на слово. Я хочу прочитать.

— А вторая?

— Вторая важнее. — Он посмотрел на меня. — Если форму ноль-один можно подать, её можно подать ещё раз.

Я понял не сразу, а когда понял, поставил кружку.

— Третий, — сказал я.

— Третий, — сказал Ланской. — Или третья. Кто-то шесть лет назад нашёл пожарный щит и разбил стекло. Через пять с половиной лет он разбил его второй раз. Между первым и вторым — пять с половиной лет. Генерал, если ему понравится, следующий промежуток будет короче.

— И вы хотите знать, можно ли это закрыть.

— Я хочу знать, предусмотрено ли закрытие, — сказал он. — Отмены не предусмотрено. Про запрет ничего не сказано. Я очень хочу посмотреть, нет ли там пятого пункта, в котором написано, при каких условиях заявка не принимается. — Он пожал плечами. — Я, как вы понимаете, не из человеколюбия. Я просто не хочу однажды встретить в бою кого-то третьего, кто будет смотреть на меня так же, как я смотрю на вас.

— Тогда у нас одна задача.

— У нас одна задача и разные причины, — сказал Ланской. — Так обычно и бывает, когда что-то получается.

— Хорошо, — сказал я. — Теперь условия.

— Говорите.

— Первое, — сказал я. — Мы не врём друг другу в бумаге.

Он поднял брови.

— Только в бумаге?

— Только в бумаге, — сказал я. — Вслух мы можем молчать, уходить от ответа, не договаривать и путать, сколько угодно. Это нормально, мы оба так работаем. Но то, что написано и передано другому, — правда. Цифры, даты, количества, имена. Если я чего-то не хочу писать, я оставляю пустое место, а не ставлю туда неправильное.

— Почему так?

— Потому что иначе мы оба перестанем считать, — сказал я. — Я полтора года считаю. Вы четыре года считаете. Мы оба держимся на том, что цифре можно верить. Если мы начнём врать в бумаге, мы довольно быстро начнём врать в ней себе.

Ланской подумал.

— Принято, — сказал он. — Второе?

— Второе: если мы встретимся в бою, мы встретимся в бою, — сказал я. — Без изображения дружбы, без предупреждений и без поддавков. Вы меня не щадите. Я вас не щажу.

— Это я и так собирался.

— Я знаю, — сказал я. — Я проговариваю вслух, чтобы это было сказано.

Он посмотрел на меня и чуть усмехнулся.

— Это у вас откуда? — спросил он.

— Что?

— «Чтобы было сказано», — сказал Ланской. — Так говорят люди, которые ведут протокол даже тогда, когда его никто не ведёт.

— Это мой начальник канцелярии, — сказал я. — Коммандер Ульман. Он мне так сказал неделю назад.

— Тот, который в одном отделе с Лорном.

Я посмотрел на него.

— Откуда вы знаете про Лорна?

— Оттуда же, откуда всё, — сказал Ланской. — Из вашего перечня. Вы его разослали двенадцати родам, а у двенадцати родов есть служащие, которым платят жалованье, и некоторые из них любят новые ботинки.

Он сложил свой листок обратно в карман.

— Третье условие моё, — сказал он. — Связь.

Он назвал частоту, порядок и адрес.

Адрес оказался человеческий: ремонтная яма Дорена Хейла на Разломе, четыре корпуса, стыковочные узлы. Туда ходят мелкие операторы с обеих сторон границы, туда приходит почта, которую не видит ни одна имперская сеть, и туда можно написать, если знать, кому передать.

— Через старика? — сказал я.

— Через старика, — сказал Ланской. — Ему семьдесят шесть, он вор, он чинит мне узлы и ненавидит вашу канцелярию больше, чем меня. Это самый надёжный канал, который я знаю.

«Командующий, — сказала Сейв. — Выдох закончился две минуты назад».

Я посмотрел на часы.

— Сейв, — сказал я. — Полный обзор. Всё, что появилось за сорок минут.

Пауза была длинной.

«Командующий, в системе есть третья отметка».

Ланской встал раньше, чем я.

— Говори, — сказал я.

«Объект на высокой орбите Тиля, вне плоскости, дистанция около четырёх световых секунд от нас. Масса порядка девяти тысяч тонн, корпус малого курьерского класса. Он разгоняется на уход в сторону Северного узла».

— Когда он пришёл?

«Он не фиксировался до начала выдоха. Он не фиксировался во время выдоха. Он появился в обзоре через девяносто секунд после окончания выдоха, уже на разгоне. Это означает, что он пришёл и стоял в слепой зоне и начал уходить, как только обзор восстановился».

Ланской пошёл к переборке и ударил по клавише связи.

— Мостик. Высокая орбита, вне плоскости, курьерский, девять тысяч. Кто?

Ответили сразу и коротко. Говорили на разломном выговоре, который я понимал через слово.

— Когда появился? — сказал Ланской. — Не когда увидели. Когда появился. Поднимите запись пассивных за сорок минут и посчитайте назад по вектору.

Пауза. Ответ.

— Реактор не запускайте, — сказал он. — Двигатели не трогайте. Стоим как стояли. Если он смотрит и дальше, он смотрит на камень.

Он держал клавишу ещё секунду.

— И не гоните за ним, — сказал Ланской. — Я знаю, что вы хотите. Не гоните. Мы его не догоним, а на разгоне нас увидят.

Он отпустил клавишу и вернулся к столу.

Это заняло у него секунд сорок, и за эти сорок секунд я впервые увидел, как он работает.

Он не повысил голос. Он задал один правильный вопрос — не «кто это», а «когда появился» — и один раз поправил своих, которые уже собрались делать то, что сделал бы любой. И он запретил два действия подряд, не объясняя.

Я полтора года разбирал его кампании по записям и считал, что знаю, как он устроен. Я не знал. По записям видно, что человек решает. По сорока секундам видно, с какой скоростью.

— Не мой, — сказал он.

— Не мой, — сказал я.

Мы посмотрели друг на друга.

— Вас вели, — сказал Ланской.

— Или вас.

— Меня не ведут, — сказал он. — Я одиннадцать суток лежу в дрейфе с реактором на фоне в зоне, которую фильтруют все искины вселенной. Меня здесь не видит даже ваш, а ваш видит, потому что вы ему специально запретили фильтровать. — Он постучал пальцем по столу. — Генерал, он стоял и ждал, пока кончится выдох, чтобы уйти. Значит, он пришёл не искать. Он пришёл смотреть. И он знал, куда смотреть, и знал, во сколько.

Я сидел и очень быстро считал.

Я считал всю цепочку назад, и она укладывалась, как укладывается всё, что хорошо сделано.

Я подал заявление на отпуск четырнадцатого в девять сорок. Его согласовали в тринадцать двадцать. Три часа сорок минут при норме сорок часов — второй такой случай за полтора года.

Я сам придумал ехать тайно. Я сам отказался от корабля, от охраны и от доклада. Я сам купил каюту на частном грузовике по расписанию, которое никто не утверждает. Я был очень собой доволен.

— Я идиот, — сказал я.

— Говорите вслух, — сказал Ланской. — Я послушаю.

— Им не нужно было меня останавливать, — сказал я. — Им нужно было меня отпустить. Генерал флота, отстранённый, обвиняемый по открытому производству в самовольном изменении редакции Устава, берёт отпуск по седьмой причине, скрывает адрес, едет без охраны на частном судне в систему Кальдера и там в одиночку поднимается на борт корабля Полуночника и проводит на нём шесть часов. — Я разжал пальцы. — Это не надо доказывать. Это надо один раз сфотографировать.

— Сношения с противником, — сказал Ланской.

— Сношения с противником, — сказал я. — И самое лучшее в этом то, что это правда. Вся. От первого до последнего слова. У меня в пяти тысячах журналов написано, что я сменил редакцию Устава, и я сам это объявил по общему каналу, и Арден мне тогда сказал: если бы вы хоть раз соврали, у меня был бы выбор. Теперь к этому прикладывается вот это. — Я показал на трюм. — И вместе это уже не упрямый честный генерал. Это измена.

Ланской смотрел в стол.

— И вы приехали, — сказал он.

— И я приехал, — сказал я. — Я за это заплатил, и платил бы ещё раз, потому что без вас я бы про форму ноль-один не узнал никогда. Но вы правы: меня отпустили.

Я встал и прошёлся между койками, потому что сидеть не мог.

— У меня один ход, — сказал я. — Он у меня всегда один, я это уже понял. Я напишу.

— Что напишете?

— Всё, — сказал я. — Рапорт о встрече. Дата, место, время, корабль, сколько человек, сколько часов, о чём говорили, что получил, что отдал. В следственную службу Совета, в канцелярию, Ардену и своему командующему. Отправлю, как только войду в сеть.

— Вы сами на себя напишете.

— Я на себя уже писал, — сказал я. — Полтора года назад я объявил по общему каналу, что совершаю государственную измену, и велел занести это в пять тысяч журналов, и меня за это отстранили. Это был лучший мой ход за всю войну, и я его сделал по той же причине. Снимок стоит чего-то только до тех пор, пока его можно показать первым.

Ланской молчал долго.

— А я? — сказал он.

Я остановился.

Я об этом не подумал. Я считал свою цепочку и не посчитал его, и мне стало стыдно ровно настолько, насколько может быть стыдно человеку, который три часа назад узнал, что он копия.

— Если я напишу всё, — сказал я медленно, — то наниматель узнает, что Полуночник встречался с предметом найма, шесть часов с ним разговаривал и показал ему родовой ключ.

— Да.

— И после этого вам либо перестают платить, либо перестают вас оставлять в живых.

— Либо и то и другое, — сказал Ланской. — По порядку.

Он поднял на меня глаза, и в них ничего особенного не было. Ни страха, ни упрёка. Он просто ждал, какую цифру я назову.

— Курьер уже всё видел, — сказал он наконец сам. — Он ушёл на Северный узел и доложит раньше, чем вы войдёте в сеть. Значит, ваш рапорт ничего мне не добавляет. Пишите.

— Это не вы считаете, — сказал я. — Это вы меня успокаиваете.

— Это я считаю, — сказал Ланской. — Курьер видел два корабля на ночной стороне и шлюпку между ними. Он не видел, о чём мы говорили. Ваш рапорт — видел. Разница есть, и она не в мою пользу. — Он помолчал. — И всё равно пишите, потому что иначе вас съедят за три недели, а мне нужно, чтобы вы копали сто шестьдесят суток. Я же сказал: вы у меня работаете.

— Я напишу всё, кроме одного, — сказал я.

— Кроме чего?

— Кроме того, кто мы, — сказал я.

В трюме стало тихо.

— Я напишу про плательщика, про отпечаток, про посредника, которого не существует, про пять договоров и про предмет пятого, — сказал я. — Я напишу, что вы передали мне сорок листов копий и что я их принял. Я напишу, сколько часов мы говорили и о чём: о снабжении, о деньгах, об узле Кейн. Всё это правда, и всё это проверяемо.

— А про приложение?

— Про приложение и про вас я не напишу ничего, — сказал я. — Ни слова. Ни намёка.

Я сел обратно и положил руки на стол.

— Андрей Петрович, — сказал я. — Я за полтора года семнадцать раз велел занести в журнал, что решение принял я и ответственность беру на себя. Я ни разу не написал неправды. Ни разу не убрал невыгодную цифру. Я на этом держусь, понимаете? У меня больше ничего нет. Все мои бумаги стоят ровно столько, сколько стоит то, что я в них не вру.

— И?

— И я сейчас в первый раз напишу документ, в котором всё правда и которого недостаточно, — сказал я. — Это не ложь. Это пустое место. Но я вам честно скажу: я не знаю, чем они отличаются, и мне придётся это выяснить на себе.

Ланской очень долго на меня смотрел.

— Напишите в вашем файле, — сказал он.

— В каком?

— В том, который «наблюдения, из которых ничего не следует», — сказал он. — У вас же есть место, куда вы складываете то, чего не можете оформить. Положите туда и это. Хотя бы будете знать, где оно лежит.

Я подумал и кивнул.

— Сейв. Запись.

«Записываю».

— Тринадцатая, — сказал я. — Сегодня я согласился составить правдивый документ, в котором сознательно отсутствует главное. Причина — безопасность второго лица. Я считаю это решение правильным и не считаю его честным.

«Записано».

Прощались мы у шлюза.

Он отдал мне папку с сорока листами, сложенный вчетверо лист с тремя строчками и, подумав, выдрал из своей тетради страницу с двумя датами и приложил сверху.

— Это вам нужнее, — сказал он.

— Вам же её переписывать.

— Я её наизусть помню, — сказал Ланской. — Я её четыре года помню.

Пилот со шлюпки ждал у переборки и смотрел в пол.

— Последнее, — сказал Ланской. — Просьба.

— Говорите.

— Не рассказывайте мне про Землю, — сказал он. — Ничего. Ни про что. Я шесть лет держу эту дверь закрытой, и я знаю, что если её приоткрыть, я неделю не смогу работать, а мне нельзя неделю не работать, у меня сто семнадцать компаний. — Он смотрел в сторону. — Я серьёзно прошу. Не из гордости.

— Хорошо, — сказал я.

Я шагнул в шлюз.

— Генерал, — сказал он мне в спину.

Я обернулся.

Андрей Петрович Ланской стоял под низким потолком в своей тёмной куртке, невысокий, сутулый, с лицом мастера смены, и держался рукой за комингс.

— Один вопрос всё-таки, — сказал он. — Люди стали жить дольше?

— Немного, — сказал я.

Он кивнул.

— Хорошо, — сказал Ланской и закрыл переборку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.